



Глеб Александрович ГОРЫШИН родился в 1931 году в Ленинграде. В 1954 году окончил филологический факультет Ленинградского университета. Работал в газете «Молодежь Алтая», в геологических экспедициях Кольского полуострова, Алтая, Дальнего Востока. Первая книга рассказов «Хлеб и соль» вышла в 1958 году. Автор более 30 книг рассказов, повестей, очерков. Член Союза писателей с 1960 года. Живет в Санкт-Петербурге.

СЛОВО ЛЕШЕМУ

Записи этого лета (1991 г.— Ред.) — продолжение записей прошлого лета, напечатанных в № 12 «Севера» за 1991 год под заглавием «Луна запуталась в березе». Весь цикл: фиксация течения жизни в вепской деревне Нюрговичи, с отступлениями и допущениями, — называется «Местность». Окончание цикла не входит в замысел, непредсказуемо, куда жизнь течет, деревня дышит, глаз и душа воспринимают.

**ЧУХАРИ УПЕРЛИСЬ. ПЕРВАЯ ДАМА ПОЛЬШИ. НИ ПУХА НИ ПЕРА.
ОДИН ИЗ РОМАНОВЫХ. СЛОВО ЛЕШЕМУ. ЧЕТЫРЕСТА БЕЛЫХ ГРИБОВ**

1

Вчера пришел домой, в мою избу, в Нюрговичи. Плыл в байдарке по Озеру, было чувство, что так и не отрывался надолго от этих вод, от моего Большого Озера. Между тем минул год. Где я был в этот год, что со мною случилось? Сколько наговорено слов, простояно в очередях в кулинарии на Невском проспекте, не встречено рассветов, не увидено закатов, предпринято ухищрений?! Я предавался борьбе, как все народонаселение нашего Отечества, умерщвлял нервные клетки, без веской причины предавался унынию, без повода ликовал... Озеро наполнялось дождевой водой, в сушь опадало, на солнце лучилось, под тучами хмурилось. Озеро подавало надежду всякому, кто к нему обращался лицом и душой. И я вернулся к Озеру, сел в лодку, поплыл, не оставляя за собою следа. Вспомнил, что человек создан для счастья, как птица для полета. Наблюдал в небе птицу — главную птицу здешних мест: ястреба (коршуна), как он лежит распластанными крыльями на нисходящих потоках эфира, вкушает счастье полета. Плывя по Озеру, я предавался счастьем моего плаванья. Это — мое, доступное счастье; к другому не применился, не соответствую.

Счастье возвращения домой охватило меня, едва я отодрал топором доски, прибитые поперек входа, вошел в избу, прозябшую за год, ни разу не топленную. На дворе было ведрено, жарко, по-вепски жарко — в меру. Все умеренно тут у нас, на Горе. Но достаточно для счастья — тоже в меру.

Мой друг в Усть-Капше Иван Текляшов сказал:

— Брусника сей год мелкая будет. Грозы нету дак. Брусника крупная **бывает** от грозы.

В Корбеничах в магазине теперь командует Михаил Осипович, **векарь**. Он и **исчет** хлеба, и «продает» (так говорит Иван Текляшов: «продает»). Он **«продает»** также сигареты самого низшего сорта — «Рейс» — по колбасному талону. У него сохранился колбасный талон за июль, в июле я не побаловала себя **«колбасными изделиями»**. Сегодня 31 июля, надо садиться в лодку, **плыть за этим благом — сигаретами «Рейс»**.

эквивалентными колбасным изделиям. Завтра будет поздно. Карточки на продовольствие постоянно напоминают о невозвратности прожитого дня, тем более — месяца: не получил — и останешься с носом. (Слово «отоварился» я пережил в войну и после — худое слово, не выговаривается, как, скажем, «санобработка».)

1 августа. Девять часов утра. Полная голубизна неба на все четыре стороны. В ночь луна восходила на востоке, бледно-латунная, как блесна, с ущербом справа, с рассеянным свечением. Луна осталась на небе по сей день, сей час — бесплотная, облачно-прозрачная, с усеченным сегментом справа, в том месте, где в полдень быть солнцу, — на юге. Ни единого звука в мире, ни ветерка, ни птичьего голоса, ни ястреба в небе. Озеро зеленое, как берега, зеркальное.

Вчера плавал в Кorbеничи. Едва взялся за весло, как навстречу задул юго-запад — шелоник-на море разбойник. И так упрямо, нагло, дерзко задул, будто с единственной волей — пересилить человека, посягнувшего плыть встречь. Я плыл против ветра три с половиной часа. Успел в магазин к Михаилу Осиповичу.

В белой куртке, в кепке, седенький, с голубенькими глазами пекарь-лавочник отрезал ножницами в моей карточке колбасные изделия, постучал на счетах, выдал двенадцать пачек «Рейса», взял шесть с чем-то рублей (за «Рейс», хлеб, суп в пакете и хозяйственное мыло).

Вечером пил чай с черничным вареньем, дымил, слушал, как Горбачев поладил с Бушем в Ново-Огареве (со своими не может поладить), как в Литве изрешетили из автоматов шестерых литовских таможенников, как Буш с супругой дали обед в честь Горбачева с супругой. Слушал, а сам все плыл; как уже было замечено, в плаванье — счастье. Можно счастье заново пережить, воспроизводя по памяти на бумаге его моменты, точки, координаты...

Когда я подплывал к Кorbеничам, ветер переменял курс на 180 градусов, задул с северо-востока. Чтобы выгрести, опять-таки против ветра, следовало подкрепить силы. Я зашел к Володе Жихареву, угостился чаем, к чаю нашлось одно яйцо, хвост селедки с постным маслом, хлеба было вволю, теплого, из печи Михаила Осиповича, и сахар к чаю нашелся. У Володи, как всегда, что-то не ладилось в лодочном моторе. Он спрашивал у меня:

— Скажи, как ты думаешь: если в шестерне выкрошился один зуб, шестерня сработает?

Что я мог ответить ему? В моих челюстях выкрошились почти все зубы. Тоже были важные детали в шестернях организма. Механизм-организм худо-бедно функционирует без зубов.

Встречный ветер вскоре улегся: умягчается все злое на свете, как бы долго ни трепыхалось, даже вот и холодная война. Я плыл по вечернему зоревому Озеру. По небу летели тонкокрылые, бело-голубые крачки. Подошел близко к берегу, из лознякового куста вдруг стали выпархивать трясогузки. Оказывается, они ночуют в кусту у воды, самые сухопутные птицы.

Теперь о щуках: плыть из Нюрговичей в Кorbеничи, за чем бы ни было, — половина интереса состоит в щуках. Ежели ударит большая щука, не перекусит жилку, не сломит крюк, попрыгает в лодке, поскалится и смирится, то щучий навар перевесит все другое. За моей байдарой тянулась жилка, болталась где-то блесенка. Без этого плыть — от скуки хоть головой за борт (как видим, счастье плаванья капризно), особенно при встречном ветре.

Первая щучонка зацепила жестяной жаброй за крючок против того места, где слышен стук топора строителя одинокого на мысу жилища. Я еще не знаю первого отшельника-хуторянина на нашем Озере, только вижу в прогалке лиственной заросли кругую кровлю его дома; место выбрано — загляденье, — на выселках, без живой души в обозримом пространстве. Решиться постройиться здесь мог человек сильный, уверенный в себе.

И все же щучка попалась в том месте, где явил себя жилой дух. Вообще, о связях рыб с человеком, об их совместном близком жизнеобитании мало что известно. Или напутано. Рыба ищет, где глубже, человек — где лучше, только-то и всего. Домостроитель выбрал себе место для жительства на берегу Озера, на мысу, тут ему лучше, чем там, где он обитал до сей поры. Рыба — щука — схватила мою блесну отнюдь не на «глубине», на мелководье, у края камышей с кувшинками. Примечательно, а? Не так ли?! Прошел необжитую половину Озера без единой поклевки; едва послышался стук топора, поймалась щука. Как это объяснить, милостивые государи? Почему в те времена, когда по нашему

Озеру сплавляли — в кошелях — лес, вепсы пекли рыбники с лососем, судаком, лещом? А ныне щучонка — как божий дар...

Вторая щука ударила против деревни Корбеничи, где, кажется, на каждую рыбину наживлена жерлица, притоплена сеть, закинут перемет, машет спиннингом или «дорожит» рыбарь. Моя блесна за что-то зацепилась, так часто бывает: на дне Озера полно топляков; лодка стала. Я потянул жилку, ощутил на ее конце что-то большое, упрямое, живое. Сильная щука сопротивлялась, но я был сильнее ее, подвел к борту, вода забурлила... (Однажды, помню, мимо моей избы в Новгородчине заскрипел арбами цыганский табор. Старый цыган обратился ко мне: «Дай гвоздь». Я указал цыгану на гвоздь в стене: «Выдерни, и будет твой». Цыган возразил: «Нет, ты выдерни, ты сильнее меня». Так же вышло и со щукой.) Тут бы мне сделать последний рывок, не дать бы щуке опомниться... Но я промедлил... Щука легко перекусила жилку, как перекусывает швея нить, ушла на глубину. Каково ей теперь станет коротать свои щучьи дни и ночи с колючей железякой в пасти? Я посочувствовал щуке.

Володя Жихарев сказал:

— Надо с проволочным поводком, а так откусит.

Будто я этого не знал! Но пренебрег знанием... Как некогда в молодые годы ведь знал же, что предстоящее время (времени предстояло столько, казалось, некуда девать) надлежит посвятить полезным занятиям, чему предназначен; например, сесть бы и написать роман, чтобы все обомлели. Ан нет. Ну, ладно. Вздернуть бы щуку мощным хватом руки: вышел бы добрый ужин. Упущено, не вернешь. В утешение себе я переводил мысль на индусов. Индусы учат, что не стоит предаваться печали от несодеянного, упущенного; каждый миг жизни суть ее начало, протяжение и конец. Не пекись о том, что миновало, унырнуло вглубь. Не уповай на грядущее. Предайся данному тебе мигу жизни, вкуси его сладость, настоящую на горечи слез.

...Однажды в Бомбее я ехал в туристском автобусе по одной из неглавных улиц с чередой хижин, построенных из картонных коробок, банок, бутылок. У одной из хижин лежал на земле старик — скелет, обтянутый смуглой морщинистой кожей, с гривой длинных седых волос. Подле него сидела старая обезьяна, тоже седая, гладила, расчесывала волосы своего хозяина-друга. По всему было видно, что у этих двоих покончены все счеты с жизнью, однако жизнь их не отпускала, для чего-то они ей были еще нужны. Эти двое, старый индус с обезьяной, совершали обряд жизни, грелись на солнце — и только; от них исходил абсолютный покой...

При прощании с Володей Жихаревым я спросил у него:

— Ну что, Володя, не пьешь? (Год назад Володе заделали в ягодицу ампулу — «эспераль».)

— Нет, ни грамма. Уже второй год.

— И что, не тянет?

— Иногда тянет, маленько. Но надо выдержать три года. А там будет видно.

Двадцать три часа. Шел с Ландозера лунным лесом. Чувствовал себя так, словно мне не шестьдесят, а много меньше, все равно — сколько. Я шел по лунному лесу вне возраста, как хаживал в тридцать, сорок, пятьдесят. Мой Леший путал меня, совал мордой в чапыгу; я не обижался на Лешего. У меня в корзине была полнехонька банка морошки, самой спелой, готовой вытечь, но дождавшейся меня в моем месте. И еще двенадцать ландозерских питанных окуней.

Ландозеро встретило меня, будто приготовилось к встрече: ласково-тихое, глянцевое, зоревое, с расцвеченным низким солнцем дальним берегом, с гроздьями черники на кочках, такой крупной, какая еще бывает разве на Командорских островах. Я закинул удочку, отмахивался от комаров, тоже здесь великорослых, отчаянно воющих. Поплавок замер на тихой, без малейшего движения, темной воде, не шелохнулся. Известно, что здешний окунь сам к червяку не ходит, надо прийти к нему с червяком. Что же, пошел округ озера, переваливал через спиленные бобрами осины, время от времени махал удилищем — здесь же срезанной рябиновой палкой. Окуни пребывали в своей окуневой сиесте, не подавали признаков жизни. К моим познаниям о нашей местности прибавилось еще и это: в теплый ясный вечер на Ландозере окуни не берут. Надо будет предупредить ходоков на Ландозеро, чтобы дождались бы гадкого дня с дождем и ветром (хотя при восточном ветре тоже не берут). Так я дошел до горловины Ландозера — заросшей протоки, соединявшей озеро с травяным болотом, тоже в прошлом

озером. Вода в устье протоки была особенно, густо темна, подернута мутью. Забросил червя в самую муть, поплавок тотчас ушел косо вглубь, из мути выпростался радужный, динамической формы, в парадном мундире окунь. За ним, в очередь, другой — и пошло. Окунь хватал червя жадно, наперебой, заглатывали крючок в утробу. После одной поклевки-подсечки рыба наружу не вышла, не поддавалась, мертво захрясла в самой мути. Леска натянулась и лопнула; поплавок остался на воде. Неподъемных рыб на Ландозере до сих пор никто не лавливал, по-видимому, рыба ушла под корягу. Я побежал за второй удочкой, оставленной в другом уловистом месте. Когда вернулся, мой поплавок уплывал от берега, оставляя за собой два уса. Плыть вдогонку я не решился: больно темно, муторно Ландозеро.

На вторую удочку не клевало; стало заметно темнеть. В полиэтиленовом мешке шебуриши пойманные окуни — хватит на уху и коту Мурику. Отпала надобность сообщать кому бы то ни было, что в ясный вечер окуни на Ландозере не берут. Или у ландозерских окуней тоже неравномерно с продуктами, как у нас: в Питере колбасные изделия, в Корбеничах сигареты «Рейс»? У того берега, куда дачники ходят, червей не впроед, а у этого — только давай?

Ночью не спал: переволновался на Ландозере.

Половина четвертого. Встал, записал, покуда не перегорело. Сколько я уговаривал моего сердечного друга, тонкого знатока рыбной ловли, чуткого к слову, звуку писателя Владимира Насушенко: «Володя, голубчик, не пиши про рыбалку — Хемингуэй написал, и хватит». Думал ли я тогда, что буду вскакивать по ночам, записывать пыльные переживания этого гадкого занятия: ловли живых с красной кровью рыб на живых, мучающихся червей?

Уже рассвело, пора потрошить окуней (собственно, только шкерить), заваривать уху — и опять на рыбалку. А как же? Рыба в нашей местности нынче — главный продукт, без рыбы и ног не потянешь.

Сегодня день Ильи-пророка. Илья кинул ледышку в воды земные и в наше Озеро, но утром я плавал в зацветшей воде без малейшего озноба.

Ночью слушал «Свободу», все отбивающую охоту у добрых людей по-людски жить в Собственном Отечестве. Некая разбитная деваха из Москвы распиналась на тему: бабы в Советском Союзе платят своим телом, чтобы удержаться на плаву в социуме — поступить в институт, из машинистки выбиться в редакторы; ежели актриса, то получить роль; любящая мать — уберечь сыночка от забирания в армию; секретарша — спать по должности с шефом... И так далее. Без приоритета секса, без какой-либо нимфомании. Оно, конечно, так. Но когда, где бывало иначе? Разве не той же валютой платила за благоденствие, во время яacobинской диктатуры, французская красавица Элоди — вершителю судеб в трибунале Эваристу Гамлену? Содрогалась от омерзения к палачу — и отдавалась ему со страстью на французский манер (у нас отдаются бесстрастно). Когда Эвариста Гамлена казнили, Элоди отдалась хозяину жизни новой волны (роман Анатоля Франса «Боги жаждут»).

По словам московской корреспондентки «Свободы», советские девки все до одной мечтают выйти замуж за иностранцев. И в этом есть доля правды, сыщется и резон. Точно корреспондентка черпала свою наглую, подлую убежденность на московских улицах с праздно толпой, подставляя микрофон к устам прогуливающих дев (и из собственного опыта). Едва ли им сыщутся заграничные женихи; кому пофартит — и с Богом! Московские прогулочные улицы, равно и питерские, других наших перенаселенных городов — еще не Россия. Убыль заангажированных за бугор столичных невест никак не скажется на числе свадеб в Отечестве (разводы русских жен с иноплемennыми мужьями не фиксируются). Восторженно вякать в эфире об этом горько-постыдном поветрии как о панацее, — непотребно, слушать стыдно.

Вслед за развзвонной московской служительницей второй по древности профессии слово дали московскому писателю имярек. Писатель посетовал: бываю за рубежом, там «голосов» не поймашь, тем паче «Свободу». Вернусь в Москву, прикину к приемнику, настроенному раз и навсегда на возлюбленную волну, придут еще не уехавшие — их осталась горстка — товарищи, внимаем голосу истины — «Свободы», финансируемой конгрессом США... Право, серьезный повод не уезжать: там небо покажется с овчинку — без «голосов», без «Свободы». Но ведь на нашем Западе, господа, на нашем Ближнем Востоке есть много чего другого — привикнете, то есть отвыкнете. Полно маяться, ребята, гуд бай!

Третье августа. Пасмурно, сыро, тепло. Сходил на мой огород (плантацию, латифундию) — в ближний борок за ручьем. В траве рдели земляничины, не сорванные побывавшими тут в земляничное время дачниками. В ельниках на кочках насыпано черники — гребни, вкушай ее особенную, умеренную, как все у нас на Севере, сладость. Черноголовые боровики, восходящие здесь в свое урочное время, как злаки на ниве (то есть как корнеплоды), еще не вылупились из белого мха. Я наклонился к черничному кусту, вдруг уперся глазами в темно-коричневую шляпку — гриб спрятался, вот он! Стал оглядываться по сторонам с нижней точки, от черничного куста... Красавец-боровик на белом стволе стоял под елочкой, как на Рождество подарок. Грибы стали скрытны в моем борке, на моем огороде (плантации, латифундии). А что же им делать? — дачники все оберут.

Сей год белые грибы взошли рано, на Илью; лес урожайный, щедрый; набрал грибов, сколько мне захотелось, отнес в избу, нанизал на лучинки — сушить на печи; побежал в другой лес за морошкой. Каждая ягода на болоте повешала о себе, как фонарик: возьми, куда не вытекла кисло-сладкой слезой. Набрал морошки, сварил варенья.

Ночью не дали спать мыши: брякали ложками-тарелками. Днем приходил кот Мурик, поел окуневых костей из уха, полежал на моем ложе, намывал гостей. Вдруг подхватился в другую избу. Кот Мурик — почетный гость в деревне Нюрговичи (дачном поселке), ходит в черед из избы в избу — мышиный пастух. Намытые котом мои гости не явились.

Утром распилил ножовкой бревно, сташенное с хлева, истопил печь. В избе появилось материнское начало — тепло. Вечером плавал на байдарке в зяблом тумане, поставил жерлицы.

В деревне не стало червей, поскольку не стало навозу. Поэзия рангом первой, но жизнь повергает на прозу. В деревне не стало коней, а также молочного стада. В лугу воцарился репей — скажите, кому это надо?

О червях я написал в рифму как о наиболеешем. Червей всегда было полно в навозной куче за двором Текляшовых, Ивана и Маленькой Маши; куча задернела, заросла крапивой, не стало питательной среды для червей. Были черви на задах у соседа Текляшовых Михаила, Машиного брата, работавшего в Норильске завмагом, после сидевшего в тюрьме; всех повытаскали дачники, то есть мы, нынешние изобладельцы, — скота не держим, траву не косим. Без червя отпадет рыбалка, уха из окуней — что останется нам, горемычным?!

Володя Жихарев сказал:

— Мой Матрос зимой за «Бураном» увязался, запросто давал сорок километров в час. По рыхлому снегу. — Еще он сказал: — Люська с кооператором связалась. Он у нее и живет. Мне это вот так острое... Я к себе тоже подругу вызвал, она приехала. Люська мне в магазине бенз устроила. Там крупу давали без карточек, полный магазин набился. Ну, я ей сказал: от и до.

Сейчас половина третьего ночи. Не спится. Луна стала маленькой, с ушербиной справа, стоит высоко в небе прямо над моим черемуховым кустом.

Как пополуночи Луна
В зенит восходит небосвода,
Сиянья дивного полна,
В сребристом сумраке природа
Внимает гласу немоты,
Глаголу вышнего чертога...

Прожита жизнь. Лари пусты.
И скуден интеграл итога.

Половина шестого утра. Ночью было так хорошо, тепло от печи, что не спал от доброго расположения духа; одно время даже сочинял стихи. Но сейчас утро. Озеро под периной тумана, белейшей; солнышко ясное взошло в положенном месте.

Вчера прошел на рыбалку на Сарозеро Саша Пулькин, сын покойного Ивана Андреевича, брата моего друга Василия Андреевича, тоже покойного, сказал:

— Я был на сходе. (Помните, в прошлогодних записях я упомянул про сход вепсов, имевший место в Корбеничах, в Алексеевском сельсовете — всех вепсов до одного, со всей округи; прилетели на вертолете генеральный директор совместного советско-шведско-германского концерна «Конвент», еще какие-то важные лица, предложили совершить обмен: вы нам вашу местность — землю, лес, воду, а мы вам — земледелие, животноводство, деревообработку, рыболовство, дороги, туристические комплексы, охотничьи базы, рабочие места, рубли, доллары, чего захотите...) Генеральный директор им говорит: «Чего хотите?» А чухари уперлись (Саша Пулькин сам природный чухарь): «Ничего не хотим. У нас все есть. Как жили, так и жить будем». А сами разбежались по городам. В Пашозере до сих пор старушки не нарадуются: «Это ж надо, ни по воду ходить, ни дровы пилить, благодать!»

Саша Пулькин родился здесь, в Нюрговичах. Избу его тетки Марии, у которой мы в свое время гостевали с Василием Андреевичем, Сашиным дядей, недавно купила молодая пара. Я встретил пару на лесной дороге, непроезжей не только для транспорта, но и для конного путника. Я шел по дороге и думал: «Вот бы где устроить международные автораллы по непроезжести — другой такой непроезжей дороги нет в целом мире, даже в восточно-сибирской тайге». Вдруг послышался треск мотора, из пади с зеленой лужей на пригорок въехали на мотоцикле парень с девушкой, молодые муж с женой, недавно купившие совершенно развалившуюся изобку в нашей деревне — последнюю некупленную. Остановились. Муж сказал:

— Мы ваши соседи. Купили избу Пулькиной. Я ее покрыл рубероидом.

— Куда же вы едете? — не поверил я своим глазам.

— В Курбу, — ответил молодой муж.

— Откуда?

— Из Ленинграда.

— А проедете?

— Конечно! — сказал первый встреченный мною ездок по нашей местности, может быть, супермотогонщик или каскадер. — Мы уже ездили.

Вот какие есть чудо-богатыри в нашем Отечестве. А мы все плачем-рыдаем, бьем себя в грудь: ах, нас обманули, мы на краю пропасти, ах, нас развратили! И все киваем: ах, они такие-сякие! вот мы их — агу! Нет чтобы оборотиться на самих-то себя, присмотреться к окружающим: кто в торгаши-лихоимцы, кто дом на мысу возводит, а кто на борзого коня — и в дебри. Кто в лес, кто по дрова. Своя своих не познаша. На что каждый из нас способен, будучи отпущен на волю? Нас, русских, первый раз в истории отпустили, да и то чуть-чуть, на коротком поводке.

А чухари на Вепсской возвышенности таки уперлись. Об упомянутом сходе в Корбеничах я еще скажу, ибо это — историческое событие в самоопределении вепсов (на сходе и русские были).

Еще Саша Пулькин говорил, что в прошлом году Сарозеро капитально разбомбили.

— Мы с товарищем на лодке плыли, рыба мертвая кверху пузом. А которые живые, еле-еле жабрами шевелят, на поверхности воздух хватают. После нас таскали в милицию, на нас капнули, что мы бомбили; нас видели, когда мы на Сарозеро шли с тяжелыми мешками.

Жестоко, бессмысленно, дико! Неужели могли свои?! Не станет рыбы в озерах, как не стало бобров, без биения жизни умрет красота, все покроется тленом. О, Господи, кто мы такие, чего от нас ждать?

Шестое августа. Тепло, мягко, бессолнечно. Намедни плавал утром по Озеру, видел, как при полном безветрии сам по себе мечется над водой туман — расходится. Под синим небом на синеве посередине Озера сидела семья чаек, больших, как на море, может быть, альбатросов. Чайчи дети были серо-пепельные, как в пуху, а папа с мамой белоперые. Так красиво — хоть плачь и рыдай: на синеве соцветия птичьего семейства!

Вечером шел мимо кооператор Андрей, вестимо, из лесу, я его звал в избу, угостил водкой. Закусывали свежим хлебом, испеченным в Корбеничах пекарем-лавочником Михаилом Осиповичем, — шибко скусный хлеб, еще луком с постным маслом. Больше нет ничего. Обменивались самыми важными новостями: малины позавчера не было, а вчера вся вдруг покраснела. Слой белых грибов прошел подозрительно рано. Может все кончиться раньше срока, падет осень, большой гриб так и не народится, израсходовав себя до времени.

— Я знаю, кто рвал рыбу на Сарозере, — сказал Андрей, — местные рвали, знали каждую яму, где рыба. Я пока не скажу кто, у меня нет доказательств. Но если Сашка Пулькин здесь появится, я его изметелю.

Я сказал Андрею, что Сашка Пулькин с дружкой вчера проходили на Сарозеро. Сашкино открытое появление не укладывалось в версию Андрея. Он предположил:

— Может быть, с той стороны Сарозера, там городские на «Жигулях» подъезжают... — Впрочем, тут же заверил — себя и меня: — А Сашку я все равно изметелю.

Андрей распустил длинные ноги до половины избы. Под расстегнутым воротом рубахи видна его грудь — плоская, загорелая, шириною в сажень. Курчавилась рыжая борода, синевели холодные глаза; Андрей похож на царя Навуходоносора.

Пришел программист, дачник, мой сосед Лев... (Мы плавали за хлебом в Корбеничи с женой Льва Таней и пятилетним сыном Димкой, на Левиной лодке. Димка мне заявил: «Ты написал рассказ про Льва». Я удивился: «Нет, Дима, я писал про зайца, волка, медведя, лису, глухаря, а про льва не писал. Про льва писал другой дядя — Хемингуэй». Димкина мама Таня мне объяснила: зимой я выступал по радио, делился впечатлениями о проблемах в нашей деревне, представил слушателям моих новых соседей: Льва, Валентину... В Димкином сознании отложилось: дядя написал рассказ про папу, про Льва.) Я выставил еще водки (втроем выпили литр, нормальная доза для трех мужиков). Лев сказал, что вырвал куст картошки, посчитал урожай, из одного клубня выросло тридцать полновесных картофелин. Еще Лев сказал, что семенную картошку приобрел в Институте растениеводства, изучил литературу; сам-семнадцать — отлично, но чтобы сам-тридцать, такого рекорда никто до сих пор не ставил. Вообще, у Льва и Тани огород (может быть, первенство за Таней) — хоть переноси его на ВДНХ как образцово-показательный. Возделала огород семья горожан первый раз в жизни, на отдохнувшей за пару лет земле, без каких-либо удобрений. Лев, как я уже заметил, программист, Таня — психолог.

Малина обросла всю мою избу, стала у меня воистину не жизнь, а малина. Нынче впервые надели ягоды, можно с порога протянуть руку, сорвать малинину. И тут же крапива — стрекава; полакомишься ягодкой, обстрекаешься, на руках волдыри, больно. И сладко и больно, почему-то так должно быть.

В Корбеничах у меня не только хлеб мой засушный, но еще и дед Федор, с которым мы прожили душа в душу в Нюрговичах. Дед и нынче целехонек, хоть куда...

Сидел подле своей избы на чурке, в другую чурку вонзал топор, колотушкой бил по обуху до тех пор, когда полено разваливалось. Дед колот дрова сидя, у него наколота большая поленница. Бабка Татьяна тоже молодцом, только: «Тебя-то вижу будто в тумане. Лица твоего не различу, только вижу, что ты».

Дед получил все, что желал: ему присвоили первую группу инвалидности, дали одновременно 2000 рублей, за что-то в свое время недоданное, назначили пенсию — двести с чем-то рублей. Дед продал избу в Нюрговичах питерской женщине Аде, стал богатым, может быть, это придало ему сил жить дальше, ибо люди умирают, как однажды заметил Н. С. Лесков, от жены, от любовницы и от того, что денег нет. Первые две причины деду не угрожали, третья тоже отпала. Дед похвастал, что прошлой осенью не стал продавать баранов, нет нужды. Пятерых заколол, засолил в бочках, по сю пору они с бабкой при мясе. (Вспомним, что дед Федор Иванович Торяков, 1901 года рождения, войну прошел стрелком 751-го полка, с июня 1941 года по июнь 1945-го, в его военном билете записаны два ранения, оба легкие, в ногу; дед все переживал, что легко ранили, хлопнуло бы посылнее, стал бы инвалидом Великой Отечественной, льготы бы отвалили. После войны был председателем колхоза в Нюрговичах.)

Дед с бабкой накормили меня «деревенским» супом с соленой бараниной, напоили молоком, чаем. Во всех вепских избах первым долгом сажают за стол, а у дачников не дожدهшься. Зайдешь, изба та же и стол на том же месте, а угощают тебя только светской беседой о пустяках. (И я не сажаю к столу посетителей, нечем угостить.) У вепсов за столом — беседа, о чем-нибудь жизненно-первостатейном. Дед Федор сказал:

— Знаешь, Глеб Александрович, дров бы Соболь дал, если бы я скандалил. А я скандалить-то, знаешь, не умею дак.

Зашел в сельсовет. В председательском кабинете сидел Николай Николаевич Доркичев, его избрали председателем на том самом съезде. Я сел к столу против председателя Алексеевского сельсовета, смотрел ему в лицо, пропеченное солнцем, с особо заметными на загаре бороздами морщин, в его добрые от старости, со слезинкой голубые

глаза; он мой ровесник; я подумал, что наше с ним дело — не снопы молотить, а овины сторожить. Доркичев поделился со мною сомнением:

— Может быть, мы напрасно тогда уперлись, на сходе. Может быть, они бы вложили средства в нашу местность, как-нибудь стало бы получше. У сельсовета средств нет, за каждой малостью в совхоз, к Соболю обращаемся. Они, директора-то, шибко грамотными болотами, грибами, медведями, глухарями! — что с ней поделать, государство не знает. У государственного чиновника она не укладывается в умишке. Совхозные директора от нее открестились, как от нечистой силы. Как ее поднять, уроненную, как вдохнуть в нее жизнь, реанимировать кровообращение, хозяйственное и другое, и при этом не зарезать — бульдозером, моторной пилой — ее красоту? Приглядываются к ней, примериваются те, у кого нынче сила, вот, например, концерн «Конвент» вкупе еще с кем-то, с журналом «Аврора» — ах ты, Господи, вот где опять стренулись наши пути... Пять лет я заведовал прозой в «Авроре», столько же просидел за столом главного редактора, бывало, дневал и ночевал, по ночам сдавал помещение на Литейном проспекте охране, там знали, что главный редактор засиживается, однако позванивали, беспокоились: время точное, а система не включена.

Я, как умел, заверил председателя сельсовета, что.. А что? Бедное наше государство! Бедное! Столько у него богатства! Одна Вепская возвышенность, с ее холмами, тайгой, озерами, реками, травами некошеными, зарослями малины, морошки, брусники, клюквенными болотами, грибами, медведями, глухарями! — что с ней поделать, государство не знает. У государственного чиновника она не укладывается в умишке. Совхозные директора от нее открестились, как от нечистой силы. Как ее поднять, уроненную, как вдохнуть в нее жизнь, реанимировать кровообращение, хозяйственное и другое, и при этом не зарезать — бульдозером, моторной пилой — ее красоту? Приглядываются к ней, примериваются те, у кого нынче сила, вот, например, концерн «Конвент» вкупе еще с кем-то, с журналом «Аврора» — ах ты, Господи, вот где опять стренулись наши пути... Пять лет я заведовал прозой в «Авроре», столько же просидел за столом главного редактора, бывало, дневал и ночевал, по ночам сдавал помещение на Литейном проспекте охране, там знали, что главный редактор засиживается, однако позванивали, беспокоились: время точное, а система не включена.

Решить участь Вепской возвышенности предполагают опять же по-партийному, по-большевистски, методом ударной стройки, хотя загодя подсчитывают барыши, знают, кому они пойдут в руки. Большевики вершили свои ударные стройки без подсчета, наобум, вот как, например, рыбоколхоз имени Калинина «обрыблял» водоемы на Вепсовщине... Упускали из виду такую масть, как работник, — есть он или его нет, полагались единственно на вложение средств, как теперь любят говорить, «инвестицию». Вложили средства — и все образуется, так бывало всюду и в нашей местности: построили рыбохозяйство в Усть-Капше, а форель взяла да и сдохла. Кто же ждал от нее такого подвоха? И никто, оказалось, за эту форель не отвечал собственным карманом. Работник отчужден от результата труда, местный от местного интереса.

Когда проезжаю Харагеничи, спускаюсь к Харагинскому озеру, там все тот же Новолодожский рыбоколхоз, заодно со строительством в Усть-Капше, соорудил форелевые садки, запустил в них молодь, сдал в аренду Трошковым, отцу и сыну. На берегу у садков сторожевая избушка, в ней или старший Дмитрий Иванович, или младший Николай Дмитриевич. Форель — их личное дело, по осеням сдают колхозу товар. Привесы у Трошковых выше, чем в колхозных садках в Лукине, хотя с кормами перебор: то витаминов нет, то еще чего, рацион не выдерживается. Но Трошковы выкручиваются, поскольку берегут свою форель как зеницу ока, работают на садках, как в собственном хозяйстве, каждую форелину знают в лицо.

Я спросил Дмитрия Ивановича о заработке. Он назвал цифру двести пятьдесят в месяц, может быть, что-нибудь оставив в уме.

— Ну что, Дмитрий Иванович, двести пятьдесят — не деньги по нынешним временам. Дело идет, надо разворачиваться.

— Тут и тысячу предлагали... — Трошков улыбнулся простодушно-хитрованно, как мой приятель Ваня Текляшов — сторож при ямах, оставшихся от рыбохозяйства в Усть-Капше; директор «Пашозерского» совхоза Соболев запустил в ямы раков, форель, осетров, надо полагать, порознь. — А нам не надо. Впрягаешься в это дело, дак свое хозяйство запустишь: картошку, огород, сена накосить корове, коню. На деньги че купишь? Без хозяйства зубы клади на полку.

(Замечу, что коня Трошковы впрягают не только в плуг, борону, телегу, сани, но и в завязшие на Харагинской горе после дождя «Жигуленки». Ежели машина помогает коню, он вытаскивает ее наверх, увязшую по уши не осиливает. Знаю, сам испытал. За конную тягу Трошков ни с кого денег не берет.)

Вот вам и психология арендатора — зачаточного сельского предпринимателя: умеренная достаточность, без размаха, без погони за прибылью, без готовности к расширенному воспроизводству. Трошковы — велсы; я думаю, так же рассуждает и русский мужичок, по крайней мере, в наших местах. Экономисты-публицисты все прочат его в оборотистые фермеры, а он упирается, ни в какую. В нем говорит и генетический опыт крестьянина при советской власти, и совхоз не дает ему развернуться, поскольку не желает свертываться сам, еще и природа учиняет каверзы.

В Озровичах весной один нашелся, Бобров, взял у совхоза полтора гектара земли, худо-бедно вспахал, посадил картошку. И что бы вы думали? Именно это фермерское поле облюбовали себе кабаны, дикие вепри, охочие до картошки. Да так все изрыли, так все подтели дочиста, как шефам, убирающим картошку в совхозе, и не снилось. Да и кабаны как-то стесняются ходить в государственный огород, и охотники их там ждут не дождутся.

У нас записался в фермеры, берись за ружье, запасайся огнестрельным припасом, находи в себе мужество — встретиться со зверем лицом к лицу. Вот оно как.

— Представитель «Авроры» Василевский, — докладывал мне о сходе председатель Алексеевского сельсовета Николай Николаевич Доркичев, — так увлекательно рассказывал: «У нас, говорит, у «Авроры», есть средства, мы готовы вложить, построить пивной заводик в Корбеничах»...

При мне Саша Василевский заведовал спортом в журнале «Аврора». Вот ведь как вырос, может построить пивной завод в четырехстах километрах от того места, где сеет доброе, вечное журнал для подростков «Аврора». Крайне удивленный таким закидом подросткового журнала, я первым делом подумал об ячмене. Где ячменное поле? Без ячменя пива не сварить...

Помню, в семидесятые годы некоторое время я пребывал в государстве Гвинея-Бисау, в Африке. В столице — городе Бисау — был один пивной заводик, производил пиво спонтанно: из Португалии привезут ячмень, в Бисау пьют пиво; забудут привезти, обходятся так. В Корбеничи-то — что, ячмень тоже из Португалии повезут? Далековато, и нет морского пути. Опять повеяло платоновским «Чевенгуром» — всеобщим благоденствием без работника в поле.

Я сказал председателю Алексеевского сельсовета:

— Николай Николаевич, вы не журитесь. Еще много будет охотников до ваших холмов и озер. Правильно сделали чухари, что уперлись.

Доркичев уже заварил чай, развернул приготовленный ему женою Зоей Егоровной, в прошлом преподавательницей литературы и русского языка в здешней школе, завтрак: пышку с яйцом, огурчики с грядки. У вепсов беседы без чаю не бывает, хоть в избе, хоть в кабинете председателя сельсовета.

Зашел на почту, почтарка Надежда Егоровна принимала заказы на переговоры с Ленинградом. Одна дачница заказала разговор на десять минут. Сообщила маме, там, в Ленинграде, что «здесь так хорошо, так хорошо, купаюсь, загораю, даже немножко подгорела, но ничего, проходит, и так здесь много всего: ягод, грибов, рыбы — даже немножко поправилась, домой вернусь, похудею. И как с путевкой на юг?»

Парень сообщил маме, что здесь большое озеро, поплавают по озеру, потом по рекам: Капше, Паше — в Ладого, что здесь живут люди, вот даже есть телефонная связь; потом спросил у Надежды Егоровны, нельзя ли у местных купить молока, картошки: «Обменять на сигареты». Парень привез с собой сигарет, как португальские колонизаторы привозили на Гвинейский берег стеклянные бусы, полагая, что на бусы можно выменять все.

Надежда Егоровна, отвечала, что молока нет, картошки нет, обменом не занимаются. В ней что-то закипало, булькало, как булькает у меня геркулесовая каша на огне. Почтарка заговорила громко, с внутренним напором, со сдерживаемым волнением, без заминки, как о давно выношенном, ни к кому не обращаясь:

— Выгнали нас из наших деревень. Наши дома продали за бесценок приезжим дачникам. Разве им такая цена — нашим домам? У моего отца в Нюрговичах был дом, он все в него вложил, с войны вернулся инвалидом первой группы, думал жить в своем доме, а его выгнали. Пенсию ему давали семнадцать рублей... А Цветков Михаил Яковлевич — отчего умер? Он бы еще жил и жил. Он от тоски умер, не мог жить в Пашозере в каменном доме. В своей избе зимой без дров маялся, простыл, заболел, вот и умер. Избу у него совхоз отобрал. Теперь сыновья у совхоза родную избу купили. Это что же — свой дом покупать? Я в Тихвине была, там очереди, все жалуются: того нет, того нет. А откуда взяться? Никто не работает на земле. Молодые шатаются без дела. Такие деньги платят — ни за что! Бывало, как работали: у нас, помню, в Нюрговичах учетчицей была Полина, с рогулькой бегала по полям, мерила; в один конец за Сарку двенадцать километров да обратно. В потемках вернется, на ней лица не было, так убегаешь, ноги в кровь изодраны — обувка кое-какая была, мошкой изъедена, с ног валится от усталости. За работу копейки платили. А как работали! А теперь это что же? В наших избах все отдыхают, все дачники. Нам обидно на это смотреть!

Произнося монолог, Надежда Егоровна отвлекалась на службу, меняла тембр голоса: — Междугородняя?! Девушки, это из Корбеничей. Как там разговорчик с Ленинградом?

И опять продолжала монолог при всеобщем молчанье.

Вечером я зашел в избу Цветковых к приехавшему в родные пенаты сыну Михаила Яковлевича Василию, который шоферит в Тихвине, возит зама генерального «Трансмаша». Василий сообщил мне, что они, три брата Цветковы, откупили у совхоза «Пашозерский» родительскую избу. Вот как бывает, какая многоходовая комбинация: родители строили дом для долгой жизни в том месте, какое положил для вепсов Создатель... Дальше мы знаем, что вышло. Василий тоже был на том историческом сходе, вместе с шефом. Ему понравилось, как говорили большие мужи из Питера — насчет инвестиций, инфраструктуры, иностранного туризма, доходов и всего прочего. Местные просто не поняли и уперлись. И Александр Василевский из журнала «Аврора» предлагал полезное дело: «Аврора» вложит средства, из ничего образуется пиво. Василий высказал предположение (он кое-что знает из разговоров главных действующих лиц, которых возит на машине): есть договоренность с совхозом «Пашозерский», его директором Соболевым, передать совхозные угодья за Большим озером в ведение промышленного гиганта — «Трансмаша»; на них заведутся фермерские хозяйства с интенсивным земледелием. (Из чего, из кого заведутся, пока неясно.)

Василий задумался, присовокупил от себя:

— Никто здесь жить, работать на земле не сможет. Ни одного фермера не найдется. Это же сколько техники надо, и рембаза, и ГСМ. Так просто с голыми руками к нашей земле не подступишься.

Помню, в одной из бесед на ту же самую тему егеря с Берега Норкин высказал свою точку зрения: «Чтобы какой-нибудь мужик, в полной силе, здесь согласился жить и вкалывать на земле, ему нужно ежегодно платить двадцать тысяч, за то, что он уродуется».

Вчера дачница Галина Михайловна с дочерью Текляшовых Людмилой пошли в лес по ягоды-грибы. Людмила приехала из Шлиссельбурга, где работает бухгалтером в швейном объединении «Волна», в Усть-Капшу к родителям, посетила и избу в Нюрговичах, здесь она родилась. В текляшовской избе жительствоуют Валентин Валентинович с Галиной Михайловной, куда приводится в жилой вид купленный ими дом — бывшая школа, с краю деревни. Следом за Галиной и Людмилой пошел в лес кот Мурик. Часа через три возвращались домой в том же порядке: Галина, Людмила, кот Мурик, переутомленный, еле волокащий лапы, с открытым от жары ртом. На прохладных грязях кот прилег животом к холодку, дышал боками. Я его знал, когда он еще жил у стариков Цветковых, и он меня помнит с тех пор. Галина сказала, что в лесу сажала кота в корзину, он так и ехал, отбиваясь лапами от веток, иногда совершая грациозные прыжки из корзины в понравившемся ему месте. Кот Мурик — ловец травяных мышей, большой мастер прыжков-пируетов.

Из бесед на заданную самую жизнью тему: что станет с нашей деревней, — приведу и эту, с дачником Валентином, тем, что вместе с Львом провели электричество в наши избы. Я шел из Корбеничей в Нюрговичи; первое, что услышал при входе в деревню, стрекотанье мотора. По дощатому настилу от бывшей школы к бывшему скотному двору, разломанному всеми кому не лень, ехал на маленьком тракторе с прицепом Валентин. Он привез бревно от скотного двора к своему дому, ехал за другим. Заглушил мотор, мы сели перекурить на крыльце бывшей школы... Школа — такая же изба, как другие, разве чуть побольше, прежде сокрытая от дороги и Озера зарослью ольхи, ивняка, — выставила себя напоказ; заросли Валентин вырубил (срезал моторной пилой); заготовил ольховых дровец — можно выкоптить всю наличную рыбу в округе.

Валентин сказал, что его жене Галине осталось четыре года до пенсии (она преподает теоретическую механику в вузе).

— Доживем эти четыре года в Питере, где жить стало нечем (я согласился: нечем), приедем сюда. Здесь хорошо бы завести пасеку, жить пчелами, медом. В избе надо поменять нижние венцы, поднять ее на фундамент, покрыть шифером... Я думаю, — продолжал Валентин (он — специалист по телевизорам), — если бы здесь, во всей местности, образовались бы фермы, хутора, не наносили бы урона природе... Пусть бы установили

режим государственного заповедника (Валентин понимает, а государству невдомек), водили бы туристов, продавали путевки на охоту, но умеренно, без нашей массовости, чтобы не вытоптали, не хлынул бы поток, сохранить красоту. Я дом доведу до такого состояния — в любое время приезжай и живи. Вырою колодец, поставлю баню. А пока я предложил свои услуги сельсезу: буду раз в неделю, по средам, ремонтировать телевизоры в Корбеничах. Доркичев ухватился... Жить просто дачником, сложа руки, я не могу...

Вот вам и новая демографическая ситуация в бывшей вепсской деревне Нюрговичи. И этническая. До экономики далеко, но все избы куплены питерскими, собираются жить — на нуле жизнеобеспечения; из животины в деревне остался один кот Мурик. Вдруг пустят корень, а там что-нибудь и завяжется?! Так сильно желание выломиться из толпы, сбежать из муравейника, занять свой угол, свой клочок земли, глоток свежего воздуха.

Я остаюсь местным летописцем, к иному у меня руки не лежат... Когда-нибудь изображенные мной персонажи соберутся и побьют непрошеного Нестора за вольную интерпретацию их высказываний и поступков. Ладно, что в СССР (сказали по радио из Стокгольма) скоро примут закон, разрешающий продажу и покупку личного оружия для самообороны. Нынче летописцу нелишне его иметь: больно уж разное стали смотреть разные лица на текущую действительность; инакомыслящему не прощают.

Однако расходился дождь, замурчал мой сговорчивый чайник.

7 августа, 11 часов вечера. Еще не бывало такого длинного вечера, все он тянется. Распутывал сеть, еще более запутал. Сварил пшеничной каши, явились мыши. Слушал по радио про то, что Израиль не допустит на конференцию Ближнему Востоку Палестину...

При слове «Палестина» у меня включилось ассоциативное мышление. Я вспомнил, как однажды в Афинах, на площади Омониа, в последний вечер тура по Греции мы сидели с дамой из нашей туристической группы за столиком под усыпанным звездами небом Эллады. Оставшихся от тура драхм хватило как раз на одну банку пива. Поочередно с дамой мы прикладывались к банке, обмакивали губы; сидеть за столиком кафе так, без напитка, не принято в Греции — и в любой стране мира. Моя дама обладала всеми признаками русской красавицы светлой масти, выставляла их напоказ, навлекала на себя огненные взоры сидящих за соседним столиком брюнетов с большими носами, в полувоенных блузах с закатанными рукавами, с толстыми, смуглыми, волосатыми руками.

Я наскреб по карманам оставленную на сувениры мелочь, пошел к стойке с надеждой обменять ее на какой-нибудь самый дешевый напиток; надежда не сбылась... Тем временем завязался обмен жестами, короткими фразами по-английски между моей дамой и большеносыми брюнетами. Когда я вернулся к столику, дама с энтузиазмом сообщила мне, что это — палестинцы, бойцы частей ООП, расквартированных в Греции, что они приглашают к себе за столик на чашку кофе.

...А я так надеялся провести этот последний вечер в Афинах со сговорчивой московской красавицей вдвоем (группа уже отошла ко сну).

Мужчины за соседним столиком не спускали глаз с волоокой блондинки, подавали приглашающие знаки. Их пламенные взоры производили на мою даму приметно то же воздействие, что лучи Солнца-Ярилы на Снегурочку: в ней появились признаки таяния, то есть сговорчивости, о которой я уже упоминал. Мы перешли за столик к ооповцам, нам дали по чашке кофе. Обо мне было спрошено, не муж ли я дамы. Дама заверила палестинцев, что нет. И я тотчас выпал из круга внимания; ближневосточный темперамент сосредоточился на моей даме. Мужиков, кажется, было трое (хотя я их не считал), один из них выделялся дородностью, волосатостью, носом — породой. Он испепелял мою недавнюю подругу жаром своих насытых, алчущих глаз, от него исходило томление мужской плоти. Снегурочка таяла.

Я выпил кофе и тихо сказал подруге по-русски, что хватит, идем. Подруга зло прошептала: «Если хочешь, иди. Мне интересно. Я журналистка». Я откланялся и ушел. Мой уход как будто никто не заметил.

Идя к отелю по ночным афинским улицам, я сомневался: вдруг поступил не так, как надо, не по-товарищески, не по-советски — оставил девушку одну в чужой стране, в ночное время, с незнакомыми мужиками? Постоял у входа в отель, медленными шагами вернулся на площадь Омониа. Там было все то же: за столиком трое черных мужиков и одна белотелая баба. Чувствуя за собою право последнего решения, как представитель великой державы (тогда еще было так) я тоном приказа потребовал: «Пора! Идем! Нам завтра рано на самолет!» Моя подруга уловила этот новый оттенок последнего решения, нашла в себе силы подняться, уйти от огня в потемки.

По дороге к отелю я выговаривал девушке, которую недавно склонен был полюбить: «Ах ты такая-сякая разэтакая! Да как же тебе не стыдно?! Дома иди к кому хочешь, а здесь... С тобой что случится, а нам отвечать!» И все другое прочее. Подруга в ответ отгрызалась: «Это не твоё дело! Я журналистка! Мне интересно! Я за себя могу постоять! Я была в Штатах, в Китае!» И так далее.

Улицы были пусты. Наши русские голоса звучали грубо, диссонировали с мягкостью афинской ночи. Сцена в Афинах походила на сцену в лавочке села Корбеничи, когда Володя Жихарев выговаривал своей жене Люське за измену, а Люська крыла на чем свет стоит своего неверного мужа.

В номере я долго не мог заснуть, ворочался с боку на бок, убеждал себя в том, что поступил как следовало поступить: не оставил женщину одну, не бросил, вызволил. Что случись, никогда бы себе не простил.

Утром по дороге в аэропорт мы с моей вчерашней подругой держались отчужденно, как незнакомые. В самолет вместе со всеми летящими в Софию и далее на Москву вошел вчерашний ооповец, из-за столика в кафе на площади Омония, — самый крупный, орлиноносый, волосатый. Он сел рядом с московской красавицей, будто вместе купили билеты, тотчас отъединились от всех нас, заговорили о чем-то важном для них. То есть говорил палестинец; в недавнем прошлом моя подруга, теперь его, не знала так много английских слов, как ее ухажер, изредка произносила «йес» или «ноу» — и только.

В аэропорту Софии в то невозвратное время можно было выпить коньяку за советские рубли. Все мы накинулись на коньяк, как истомившееся от жажды стадо. Когда вернулись в самолет, ооповца не было видно. Моя подруга как ни в чем не бывало села рядом, по-кошачьи жмурясь, поведала: «Этот палестинец всю дорогу от Афин до Софии предлагал мне руку и сердце. Он специально за этим и полетел. (Можно предположить, что ему была подана надежда.) Уговаривал меня остаться с ним в Софии, а потом вернуться в Грецию».

— Ну и что же ты не осталась?

В исконно русских очах близко сидящей моей подруги заголубела вся искренность, вся невинность, вся преданность. Она взмахнула ресницами:

— Что ты? Как же я без вас? Без России я не могу.

Вот такие есть женщины в русских селеньях. Даже и в стольном граде Москве. Вот какая ассоциация взбредает мне на ум при слове «Палестина».

По радио говорили, что хорваты не помирятся с сербами, а сербы с хорватами, что на Украине собрали хороший хлеб, но не сдают, придерживают, кажется, введут карточки на хлеб, что в Тюмени глубокий кризис, что у российских коммунистов вместо Полозкова стал Купшов; я его однажды видел в Вологде в обкоме. Все как-то несущественно, не о том, не про нас: как нам быть.

Я еще мало живу в деревне, не успокоился, не выздоровел душевно, все еще одной ногой там. Но и там меня нет. Скучно. Голодно. Долго тянется время. Мне его не хватало в деревне, а нынче некуда деть. Надо уходить в леса, плыть по водам, закидывать уду. И мне так потребна собака. Иначе... я буду жить без собаки. Скорее бы день, Боже мой! И так хорошо бы без ветра, без дождя.

Что надо — прожить здесь зиму, весну, написать каждый день и как начнется лето. В этом цель, смысл, задача, это — мое; все другое — чужое, от людей.

Так хочется порыбачить, а что-то держит — мое писание. Нужно ли писать? Нужно ли жить? Все-таки скучно на этом свете, господа.

Половина четвертого, за окном развиднелось. Тучи по небу плывут. Лиловеют кипрей с бодяками. Читаю «Год русского земледельца» В. Селиванова, очеркиста-аграрника первой половины прошлого века. Вычитываю дивные картины совокупного существования крестьянина с природой, разумеется, с точки зрения барина. Крестьяне тогда изложить своих чувств не умели, тем более выкладок ума. И вот такие строки, отвечающие состоянию моей души: «Подчас бежал бы из деревни при наступлении осени со всей ее унылой обстановкой: с темными и длинными ночами, с завыванием ветра в пустынных полях, с однообразно стучащими ставнями, но, к счастью, это грустное время в нашем краю не бывает продолжительно. (А в нашем бывает.)»

В сентябре, а иногда и до половины октября осенние дни бывают подчас так хороши, что и не нарадуешься».

Я пишу то самое, что писал в первой половине прошлого века В. Селиванов, земле-

владелец. Только у меня нет никаких отношений с кормящей землей. Не написаны зима, весна, лето; я все пишу предосеннюю пору. В позднюю осень тоже не залезаю. Я нахожусь в ранней и средней осени; моя поздняя осень скорехонько придет.

С утра писал и мог бы писать доселе. Сварил каши из пшенички, купленной в Корбеничах без карточек. Но чего-то недоставало организму, какого-то ингредиента, калорий, а именно — окуневой ухи, содержащей в себе все нужное для телесной жизни, отчасти и для духовной. К тому же, долго сидя в избе, полеживая, попивая чай, покуривая, замечаю в себе признаки лени, сибаритства. Нынче не кошу траву, ибо это стало бессмысленно. Накошенная в первые дни копешка почернела от дождей. Дул шелоник, то дул, то унимался. Согласно его порывам я то хватался за насос-лягушку — надувать лодку, то опять принимался за чай и табачок. Наконец решился плыть.

К моему берегу подчалил Володя Жихарев, смотрел на той стороне сеть, попался один налим. Лицо Володино было несчастно.

— Знаешь, совсем мотор сдох. У того редуктор полетел. Взял у ребят «Ветерок» — и этот вразнос.

Володя отчалил.

Я вплыл в Геную по высокой воде, догреб до моего окуневого места. Мною владела уверенность в улове: я стал заядлым рыбаком, не суетился, имел всевозможную снасть, запасные крючки, лески, поплавки, грузила, блесны. Закинул уду в то самое место, откуда ранее вынимал рыб, так точно, как нахожу белый гриб в заданном квадрате. Тотчас клюнуло, я выдернул такого большого окуnea, какого ни один дачник и вообразить себе не может. Окунь-орясина оказался единственным таким в моем омуте, а может быть, равному ему нет во всей Генуе; это мне приз за постоянство. Когда окуней набралось на уху, зашелестел дождь. Обратно шел во встречном секущем водяном потоке. Дома вышкерил окуней, тотчас сварил уху, облизал пальчики. Ухи достанет на весь завтрашний день. В реке Генуе обловлен один омут, а сколько их? Никто не считал. Исписан один блокнот, но чистехонек другой. Можно жить дальше.

По радио сказали, что Ельцин посетил Ханты-Мансийск, а Павлов — остров Валаам. Небось того и другого, там и там, попотчевали ухой. Места рыбные. Свидетельствую: после ухи становится весело, легко на душе и в теле. Вчера без ухи томился, сегодня угомонился. Ночь на дворе. Вот уж очнись на заре. Похлебаю юшки. Выйду на солнышко для просушки.

9 августа. Облачно. Ознобно. На улицу писать с природы не иду: все написано в прошлом году и позапрошлом — те же травы, росы, тучи, Озеро. Только в прошлом году прилетали две вороны, кормились тем, что перепало с моего — барского — стола. Нынче вороны не прилетают, трещат сороки. Помалкивают коростели, как молчат в рот набравшие воды коммунистические идеологи. По разным причинам, но — молчат. Коммунистам сказать нечего, да и не дадут. У коростелей вышло их время скрипеть. Может, они и не дошли нынче до вепского густотравья: мало ли гадостей на пути, например, последствия войны в Персидском заливе. По радио сказали, что из горящих нефтяных скважин в Кувейте поступают в атмосферу ванадий и никель — канцерогенные: кто хлебнет лишку ванадия с никелем, заболит раком.

Господи, проглянуло бы солнышко, ведь еще август не дошел до половины.

С утра писал, в обед ел уху, на второе овсяную кашу с постным маслом и малиновым вареньем. На той стороне кричали перевезти. С маленькой надеждой, что это ко мне, взял лодку Валентина, перевез четырех мальчишек — на рыбалку на Вечозеро. Ну, хорошо, перевез. Спасибо. На здоровье. Затем меня обуяла кромешная тоска. Заставил себя отпить чурку. Истопил печку. Стало тепло. Тоска поунялась. Надолго ли?

Кажется, простыл вчера на дожде. Так не хватило мне стакана водки, бестолково выпитой с чужими мне людьми. В деревне водка должна быть для существенных потребностей — согреться после промочки, принять доброго гостя, который все не идет. Где ты, гостюшко? Ау!

Пью чай с малиновым вареньем, слушаю музыку Антонина Дворжака, в его американский период, в конце прошлого века.

Надо вытерпеть и это.

Деревня становится густонаселенной. Кончилось неприглядное положение, то есть когда никто не приглядывал за мной и можно было жить естественно, как в пещерный век. Со всех сторон за мной приглядывают.

На берегу большой воды
 В краю забытом и убогом
 Сидел в предчувствии беды
 Отринутый людьми и Богом
 Высоколобый человек...
 А за окном зияли ночи.
 И каждый суженый ночлег
 Казалось: все, нет больше мочи...

Я привожу стихи не как образчик плодотворной нюрговичской осени никем не признанного поэта, а как запечатленный крик души. По ночам душа кричит не то чтобы громче, чем днем, но слышнее; крик души можно положить на стихи, на музыку... Положить свое тело на жесткий, обвальный собственный мослами сеник, смежить веки — и полетит душа в рай или в ад.

11 августа. С утра писал, к трем часам нашел в себе готовность облачиться в плащ-палатку, взять червей, удочку, бидон под малину, отправиться в лес. Сочился дождь, уже четвертый день без просвета, без надежды — обложной вепсский, кажется, нескончаемый. Задожжило нынче ранее заведенного. В прошлом году август выстоял без дождя.

В плащ-палатке идти было сухо, тепло. Тащить резиновые сапоги с длинными голенищами тяжело — кряхтел, задыхался, посиживал, покуривал. Срывал белые грибы — перестарки, но крепкие, такие, как я сам. Вдоль дороги в малинниках рдели (или, если угодно, пунцовели) ягоды малины. Малина может пропасть, стечет вместе с дождем.

Пришел на Геную, снял с жерлицы щуку. Окунь не брал. Вышел на дорогу, довольный щучкой, прогулкой, малиной. Дома нажарил грибов с картошкой. Поджарил щуку на постном масле. Слушал по «Свободе» Володю Войновича... Теперь-то уж он поди Вольдемар, но я помню его Володей, небольшого росточка, крепеньким, смуглым, с живыми, приветливыми темными глазами. Как-то мы с ним сидели в предбаннике ЦДЛ, мне можно было выпить, а ему нельзя, он был за рулем, только что купил «Запорожец», самой первой модели. А и мне нельзя: до моего самолета оставалось времени в обрез, а еще надо добраться до Внукова. Помню, Володя Войнович сказал: «Я тебя довезу». И довез. Ему доставляло наслаждение на своей мельнице обгонять «Волги» и «Москвичи», и он был искренне рад оказать услугу собрату. Когда это было? А Бог его знает когда — и было ли?

По «Свободе» Володя Войнович хорошо выступал, грамотно, с чувством и с подковыром, но передергивал и все не о том. То есть говорил Войнович главным образом о себе, полагая себя где-то вблизи пупа Земли, центра мироздания. Писатель подсчитывал, каким тиражом у нас издали его «Чонкина», а каким бы надо издать. Вблизи пупа Земли Войновичу кажется, что его «Чонкина» у нас недоиздали. А по мне так и этого — под завязку.

Почему эмигранты не возвращаются в постпартийный, постсоветский Союз? А хрен их знает. Мне-то что. Там они хоть что-то вякают, а тут скинут в первый же день. Тут и нам-то делать нечего, а они и вовсе не пристегни кобыле хвост...

Хорошо в избе, пахнет жилым духом. Мыши ждут, когда я угомонюсь, тогда зашушуют.

Гуд найт, мистери энд мистрисс!

Дождь разошелся, разверзлись хляби небесные. Восемь часов утра. Только что видел сон, в цвете. Женщина в годах, тучная, совершенно неизвестная, впервые мною увиденная. То есть увиденную во сне женщину я никогда не встречал наяву, а там, по ту сторону, я ее знал и за что-то ненавидел, что-то в ней было зловещее для меня. Память, запоминающая сны, такого рода мотивировки, за пределами опыта, просеивает, оставляет только картины. Герой моего сна (ежели представить сон как ночное кино), то есть я сам, убивает эту женщину из ружья. Большое помещение, в отдалении стоит только что убитая мною женщина, голая, обернувшая живот шалью. Я подхожу к ней. Женщина мне говорит: «Спасибо, я больше не могла жить, вы мне помогли». Или что-то в этом роде, по смыслу. Я вижу тучный живот женщины. Вначале, кажется, была кровь, но крови не вижу, только оплывшую грудь с соском, розоватую кожу с белесым пухом. В моей голове проносятся мысли: надо заявить, что убил, снизить срок, лет восемь буду сидеть, выйду под семьдесят. В то же время я смотрю на сидящую передо мной голую женщину как на живую, хотя знаю, что она убитая. Я стрелял в нее дважды, из двух стволов. Спрашиваю

у нее, как позвонить в милицию, 02? Беру в руки телефон, но почему-то это настольные часы. На часах диск для набора номера, но дырки пустые, нет цифр. Женщина говорит: «Дайте мне, надо набрать...» — называет цифру. В это время наплыв, сон прерывается, кончилось время сеанса. Сны бывают и многосерийные.

В моем сне есть темное, подспудное, есть и отголоски явного, отрежиссированные в подсознании. К примеру, вчера каждый час в последних известиях я слышал, что в Степанакерте убит Владимир Геворкян, зав. отделом обкома. Его расстреляли в упор из автомата днем на центральной площади из «Жигулей» белого цвета. Убийца и его сообщник-шофер скрылись.

Во сне я увидел иные картины, но главное впечатление от полученной днем информации — выстрелы с близкого расстояния в живое человеческое тело...

Володя Войнович много говорил о тюрьме, как их, диссидентов, бросали в тюрьму. Одних сажали, другие уезжали. Те, кого не посадили, кто не уехал, по словам Володи Войновича, «лежали на животе». Вот вам, пожалуйста, и навязчивая идея — надо посидеть в тюрьме.

Голая женщина является в сновиденьях мужикам всего белого света, только вместе с возрастом смотрящего сны меняются обличье модели и ее функция.

Анафемский дождь на дворе.

Еще был сон с югославским семейством: жена, муж, дочка. В каком-то месте у нас с югославами произошел обмен любезностями моего семейства с их семейством. При этом была моя жена. Что-то югославы нам презентовали. Югославская женщина попросила мою маму подарить ей медальон, камешку с маминой шеи, вещь, необыкновенно дорогую маме как реликвия. Мама отдала свое сокровище с сожалением, болью. Я пережил мамины сожаление, боль.

И мы куда-то поехали, почему-то на велосипеде. Югослав выдвинул сиденье поперек руля, стал крутить педали. Я держался за руль и тоже крутил, немножко манкируя. Затем велосипеда не стало, все поехали в автобусе. Автобус почему-то сворачивал с нужного пути, делал крюк. Через некоторое время (сны быстротечны, коротки — одно-частевки) я оказался один с подобием транспортного средства. Это были сани вроде финских, но низкие, с широкими полозьями. Я попытался ехать, но было лето, полозья заскрежетали по асфальту. Очевидно, в этом эпизоде заключен какой-то урок, вывод из опыта моей долгой жизни, например: не в свои сани не садись, или: готовь к зиме сани, а к лету телегу. А вообще весь этот сон произошел из югославских трагических событий, из их гражданской войны, может быть, прелюдии к нашей гражданской войне. Об этом денно и ночью вещают все «голоса», все «маяки».

...А мама всегда берedit мою совесть.

12 августа. Сколько дней, сколько ночей льет дождь? У него, как у всего на свете, две стороны, то есть влияние на человеческую особь, в данном случае на меня, двояко: дождь повергает в бездействие, уныние, телесную неподвижность, душевную апатию; в дождь спишь, не брeешься, не умываешься (это бывает и в ведро), обрастаешь пылью, грязью, мохом, не ходишь в лес, теряешь силы. Зато в дождь, сразу, спросонья, принимаешься писать в этом блокноте. Писанье в ведро — урывками, между делом, записываешь впечатление и убегаешь, предаешься чему-нибудь более сладостному или необходимому. Принесешь из лесу грибов, затопишь печь, обоняешь доносящийся грибной дух — и вроде жизнь прожита не зря, день не потерян. В дождь за грибами не ходишь, ягод не приносишь, варенья не варишь. В дождь пишешь, не зная, что выйдет из написанного. Бывало, хвастался, возвратясь из деревни: «Я один раз в одном месте нашел сразу сорок белых грибов». Теперь похвастьясь: «Я написал повесть». Не знаю, повесть ли, но правда написал.

Мне, как уже упоминал, 60 лет. Если все, что есть во мне, сохранится, так можно тянуть еще лет шесть. К семидесяти годам мне этой жизни не выдержать. Какой будет моя жизнь после семидесяти? (Смерть я выношу за скобки.) Душа моя больна неправедностью прожитого, совесть больна. Теперь я знаю, что воздаяния мне не грядет, легче не станет, только тяжелее. Разговариваешь с совестью наедине с самим собой. Разговор тяжелый, но я с ним свыкса; в моей душе нет прений сторон. Я вынес себе приговор, в общем, мягкий. В лесу мне мягче. Приеду в город, все ужесточится. Жизнь мне надо дожить в лесу, в этом мое милосердие к самому себе. Когда я возвращаюсь из леса в город, мои знакомые смотрят на меня с осуждающим изумлением: «Ты хорошо выглядишь». В наше время непростительно выглядеть хорошо. Я оправдываюсь: «Лето прожил

в деревне». Преувеличиваю, малость привираю: прожил-то кусочек лета. А если бы все лето? — так бы хорошо стал выглядеть, зеркало бы до дырки проглядел, собою любясь.

Сегодня плавал по реке Генуе. Это пока что моя река, никого на ней не встречаю. И есть у меня на реке мною найденный омут. Поймал в нем большого окуня, потом на крючок села плотица. Я ее не снял с крючка, закинул как живца. Плотицу схватила щука, поплавок занырял, заметался по омуту. Щука съела плотицу, не заглотив крючка. И ладно, а то со щуками перебор: вчера поймал на дорожку двух.

Пишу с утра, затем топлю печь, готовлю еду, еще что-нибудь. В три часа (в пятнадцать часов) начинаю собираться на рыбалку. Беру спиннинг, запасную блесну, дорожку — блеснить в Большом озере и в протоке, ну, конечно, червей, сосуд, куда можно пустить в воду пойманных живцов, жерлицы, удочку, запасную леску, крючки, сачок — подсаживать больших рыб. Еще надо накачать лодку, взять плащ-палатку на случай дождя и рюкзак с жестким каркасом — послужит спинкой сиденья в лодке. Что еще? Сигареты, спички, нож, топор...

Ну, кажется, все, поплыли.

После дождей Генуя полноводна, быстра. На ее высоких берегах — малинники, краснеют гроздья ягод. В воду упала береза, может, ее подпилили бобры; ах, если бы так! если бы не всех ухайдакали высокообразованные егеря...

Когда плыву по Генуе, думаю, что вот весной по берегам ее цветет черемуха, от черемухи «воздух», как говорят новгородцы, то есть аромат. Проплыть бы в мае по черемуховой реке Генуе и... Тут сама собою напрашивается концовка фразы: «...и можно помереть». То есть еще при жизни совершить свой последний путь, среди благоухающих цветов, наедине с собою, без провожающих.

Домой плыл в час угасания дня, приществия ночи. Озеро сделалось гладким, а небо еще более светлым, с белыми облаками, синими промоинами и невысоким. Греб еле-еле, но подвигался. Было тепло, хотелось одного: чтобы так еще было, было. Жизни не переделаешь, легче не станет, но есть же, есть приют для души, пристанище для бременного тела. Прости, Господи, грешного раба твоего непростенного.

Так не хотелось ехать в город, так дорог здесь день, час, солнечный луч. Если что приходит, то только мысль. А и ладно, чего еще ждать? Кого?

Намедни у меня упали со стола два ножа, ждал двух мужиков, не пришли. Упала чайная ложка — кого ждать, девочку? Девочка не пришла. Упала столовая ложка — пришла дачница Галина Михайловна, принесла новой, своей картошки; первый раз в жизни зарыли в землю клубни, не окучивали; картошки народилось полно. Упала поварешка — я не мог придумать, кто же придет: большая баба? несколько баб? Не пришли. Объяснил падение предметов из рук собственной расслабленностью. В дожди устаешь без дела, слабеешь. И Леший рад-радехонек тебя пособлазнять, поприваживать. Обижаться на моего Лешего, тем более апеллировать к кому бы то ни было себе дорожке; мой Леший неагрессивен, несколько старомоден, склонен к рефлексии и сибаритству, как я сам.

Ночью видел весь набор гадостей, слизью осевших в подсознании. Была гонка на лыжах, опять в летнее время, по асфальту (небось Леший режиссировал). Спал долго, то есть проваливался, просыпался, все начиналось сначала. Как я доживу отпущенное мне, слабая, все более погружаясь в глубокую воду, хватая ртом глоток воздуха, водки, денежное вспоможение, погожий день?! Худо, брат, худо. Но надо не уронить голову, плыть в моей лодке против течения реки Генуи, покуда не опадут руки, не понесет. Это случится скоро, скорее предположенного, как все худое на свете.

13 августа. День выстоял без дождя, нахмуренный, как я сам, хотя я скорее не нахмуренный, а огорченный. Таких огорченных, как я, великое множество в нашем Отечестве. Я решительно не знаю, как вывести Отечество из огорчения, чем утешить. Тем более Отечеству нечем утешить меня.

Вчера по «Свободе» опять говорил Володя Войнович. Эка разговорился; другие помалкивают.

Мистер Войнович сообщил, что не поедет в Москву на конгресс соотечественников по нескольким причинам (радио косноязычило, не все уловил): в приглашении обратилась не так, как следует: «уважаемый», а вот, к слову, англичане пишут «дорогой»; самое слово «уважаемый» подозрительно Войновичу, в нем есть оттенки. «Уважаемый, у тебя ширинка не застегнута», — бывает и так. Это — причина лингвистическая. За участие в кон-

грессе, за культурную программу — кризис на теплоходе «Михаил Шолохов» и пр. — предложили внести 300 долларов, указали счет, куда переводить. Это не по-джентльменски, моветон: быть гостем и ссуживать хозяевам за угощение. К тому же, «зелененькие у меня на ветках не растут». Это понять можно, бедность не порок, хотя и большое свинство. Назначенные сопредседатели «круглого стола» не те и вообще: зачем председатели? Тут можно бы и пренебречь, не придавать значения: председатели собраний редко кому нравятся; каждый сам себе председатель. Но всех же не посадишь в президиум, пустым станет зал.

Есть и еще подпункты, сопричины. Мистер Войнович маленько кочевряжится. Я его называю мистером безо всякого оттенка уничижения. Это Маршак вкладывал в слово «мистер» всю свою классовую ненависть: «Мистер Твистер, бывший министр... владелец заводов, газет, пароходов...» и т. д. «Министр» по Маршаку тоже из ряда вон плохо. Но это было когда? Теперь словам, званиям, чинам вернули их первоначальную субординацию. Я совсем не против, чтобы меня звали «мистер»; не назовут, не заслужил. А Войнович, правда, мистер; товарищем его не назовешь: гусь свинье не товарищ.

Да, вот еще одна существенная причина, по которой Войнович не едет на конгресс соотечественников: в программу конгресса включены богослужения «всех конфессий», однако, разбирая программу по дням и часам, он нашел многочисленные службы в православных церквях, но не в синагоге, не в лютеранском или буддийском храме. Это показало ему дискриминацией, писатель протестует, прозвучало запальчиво. Не по вашим годам, мистер Войнович! Ведь на службы в церкви и храмы не строим же поведут соотечественников-конгрессменов. И в синагогу — без пропусков.

Не обвиняю, не уличаю, не ловлю на слове Володю Войновича и даже не думаю о нем. Не приедет так не приедет. Я тоже приглашен на конгресс, ленинградскую его часть, но еще не решил: ехать, не ехать. Летом я, деревенский житель, тяжелоат на подъем. Я слушал Войновича в полночь и думал вот о чем: что есть соотечественник? Это — подспудное чувство, скорее подсознательное, инстинктивное, помимо долларов, председателей, программ, конфессий. Поверх всего: для чего я живу? Чтобы совершить мой жизненный цикл, предаться чистой экзистенции? Но это же скучно, невыносимо. Может быть, там, где живет Войнович, не так, а в России жизнь не в жизнь, если не послужить Отечеству. Да и там, я думаю, тоже, только не принято вслух говорить. Самочувствие Отечества как одного на всех организма адекватно настроению сограждан, соотечественников. Хотя, конечно, одни ликуют, преуспевают, другие хнычут, бьют себя в грудь.

В каждом человеке изначально заложены человеческие задатки: благодарная любовь к родителям, к матери, давшей тебе это благо — пожить на свете. Позже приходит того же рода чувство долга-любви к Отечеству, без коего ты нуль без палочки. Чувство это дается развитием, природой, ну да, конечно, русской, о том идет речь. В русской природе есть материнское, отцовское, детское, отроческое, старческое, философское, эстетическое — все входит в тебя, помогает стоять на земле, не ронять голову, не опускать плечи. Дается трудом: работаешь в охотку — стало быть, служишь Отечеству, не себе же одному, и тогда все бывает ладно. У нас есть язык — у русских, — наша живая вода; сколько уже веков двигает нашу мельницу, сколько перемолола мертвечины в животворящую плоть смысла. Это свойство нашего языка заметили еще Ломоносов, Пушкин, Гоголь, Тургенев, не называю поименно других великих.

Да, так вот... Соотечественником можно быть, не быть или отпасть. Четвертого не дано. Ежели в тебе это есть, то и последуешь первому движению души, когда позовут из Отечества — конгресс не конгресс, «уважаемый» или «дорогой», поеду не поеду... Доводы разума, опыта, амбиции — это потом; первое, что приходит: дай вам Господь, ребята, исполать вам, какие вы ни есть, других пока не видать; без вас мне неволю, ибо я ваш соотечественник. Вы меня позвали, и я откликнусь, поверх чьих бы то ни было голов, пусть молча, без воздыханий и уж тем более без потуги на отповедь. Все одним мирром мазаны. После разберемся: как же так, конгресс ваш, а денежки наши?! Надо прислушаться к душе, последовать ее первому движению.

Ежели душа не подвинулась, не ворохнулась, ну что же, — чего нет, того нет. Так надо себе и сказать: никакой пуповины, ничего иррационального русского в моем подданстве нет, а только вид на жительство. Оторвался и — слава Богу! — отныне я гражданин мира. Признаться в этом себе — и все станет ясно, достойно, как у Иосифа Бродского: живу гражданином мира, никакой ностальгии, ни московской прописки, ни восторженных воплей читателей где-нибудь на Арбате или на Литейном. Так-то бы лучше, мистер Войнович: отпал и отпал. Только нам уж дозволю помучиться нашим врожденным

вывихом нравственного существа — патриотизмом. Каждый из нас дотоле соотечественник, покада блюдет внутри себя заповедь верности тому, что мы зовем Родиной. Хорошо быть хорошим, но не всякому это дано. Родина не бывает плохой, ибо она одна, как Матерь.

14 августа. Беспросветно. Нынче август у вепсов подобен октябрю. Дождь не только действует на психику и на крышу, но производит еще множество побочных гадостей. В Генуе большая вода, рыба не ловится. Рано созревшая, на солнце полная сладости малина заводянула, стекла. Что еще? Ночью не спал, резвились мыши. Плохие мысли не приходили, но и хорошие все не решатся дойти до меня.

2

Как сказано было, при дожде я пишу. То есть на сухом месте, под овчинкой над головой в разверзшихся хлябях небесных. Пишу из себя, наново переживаю изжитое, постоянно не поспеваю, ибо жизнь вся — «езда в неизвестное», на больших скоростях, а я-то знаю, куда приеду. Пишу без спешки, редактирую, ставлю отточия, чтобы затем выправленную рукопись собственной жизни кому-нибудь продать. Дневник продадут потомки, публикаторы (если найдется покупатель) — после смерти летописца местного масштаба. Я еще предполагаю жить, поэтому приновляю дневник к нормам приличия, пределам дозволенного в переживаемый нами исторический момент. Получается не дневник, а что — не знаю (писание тоже езда в неизвестное). На успех не уповаю, гонорар в уме прикидываю. Не писать — хоть убей — не могу.

Итак, пользуясь дождем, нехождением в лес, на озеро, воспроизвожу по памяти дорожные картины.

Дорога нынче из города в деревню вышла долгой, я ее проделал дважды, впрямую и вкругаля (впрямую — 350 км, вкругаля — 500). В первый раз ехал с двумя мальчиками из Варшавы, Гжегошем 23-х лет и Каролом 20-ти, Корчинскими. Гжегош на будущий год закончит истфак Варшавского университета, но понял, что занятия историей не дадут средств к жизни, что история подлежит переписанию на заказ, а это в юности кажется неприличным. Кем стать — Гжегош Корчинский соображает на польский манер, которого нам не постичь: Польша оторвалась от нас, мы глядим на нее, как глядят с пристани на уходящий пароход. Только пароход без обратного рейса. Карол заканчивает лицей. Для нас лицей — красивое слово на вывеску, а за вывеской знак вопроса: то ли есть, то ли нет. У нас время красивых слов-заклинаний из нашего прошлого, при забвении даже правил правописания. Мы хотим убаюкать себя словами, например, словом Санкт-Петербург. Но почему же без твердого знака в приставке «Санкт»? Так же не по правилам, господи!

Польских мальчиков Гжегоша и Карола я увидел в первый раз, когда они были маленькими. В 1977 году приехал в Варшаву на презентацию (тоже излюбленное нынче, совершенно не свичное русскому языку словечко-заклинание) моей книги рассказов «Други мои» (по-польски «Пшиятили мои»). Она вышла в институте «Пакс», издательстве относительно независимом, отчасти католическом, хотя и государственном. Редактором книги была Божена Корчинская (пани Корчиньска) — молодая дама, вдова генерала Корчинского, известного в Польше еще со времен войны в Испании (со слов Божены, он был тогда жолнецем одной из интербригад) Я оказался приглашенным, в числе других гостей, в «домик» — так называла Божена свой, то есть генеральский двухэтажный особняк на две семьи — на тихой улице Гошинского. При «домике» был «садик».

Среди гостей Божены выделялась Мажена Пясецкая, тоже сотрудница «Пакса», молодая прелестная пани, с какой-то особенной серьезностью выражения лица: темные, округлые, с расширенными зрачками, они обладали постоянным, несколько лихорадочным блеском. Мажена хорошо говорила на интеллигентном русском языке, подчеркнуто приносила такие советские слова, как «чрезвычайно» или «единодушно». Начатый нами с Маженой в тот вечер разговор о серьезных вещах легко возобновляется по сей день.

Я узнал от Мажены, что общество «Пакс» — буферную структуру между костелом — духовным руководителем нации и соцгосударством, ПОРПОм, — основал ее отец Болеслав Пясецкий. Он исходил из сложившейся в стране реальности, пусть навязанной Кремлем, но все равно реальности, ставил перед собою цель не то чтобы примирить верующих поляков католиков с безбожными поляками коммунистами (коммунисты тоже ходили в костел, им это не возбранялось), но послужить воцарению гражданского

согласия, сохранению нации, государства, оказавшегося на стыке двух миров — германского, изначально враждебно-опасного Польше, и советского, тоже нелюбого поляку, но несущего в себе нечто родственное, одну группу крови — славянской. Насколько я понимаю, Болеслав Пясецкий выбирал из двух зол меньшее.

Я не вхожу в детали, которых не знаю, излагаю версию, усвоенную из бесед с Маженой Пясецкой, впоследствии с деятелями «Пакса» — в издательстве и на съездах общества, куда меня стали приглашать после выхода моей книги (всего у меня вышло в «Паксе» три книги, отвечающие критериям издательства: неидеологического, экологического, общегуманного содержания). В семидесятые годы общество «Пакс», как я его ощутил, обладало изрядной мощью и гибкостью в государственном организме ПНР, с собственными производствами, изданиями, коммерцией, прессой, отделениями в больших городах и воеводствах, мандатами в высших органах власти, связями с Ватиканом, католическим миром.

В декабре 1989 года мы с семьей — папа, мама, взрослая дочь — возвращались домой из Англии, где жили месяц у наших английских друзей. Сошли с поезда в Варшаве, отыскали Мажену и Божену, чтобы восстановить наши давние душевные узы, потраченные все разъездающим, как сырость, временем. Дело было под Рождество, нас пригласили на рождественский вечер в дом Пясецких в Мокотуве, тоже особняк, неподалеку от «домика» Корчинских. О, рождественский вечер в крепкой многоколенной польской семье — торжественный акт, ритуальное действо! Главное место в доме в Рождество отводится детям. Под елку наносится гора подарков, потом раздают кому что загодя назначено — и столько радостей; но все благовоспитанно, в меру, без перехлестов. В Рождество к столу в доме Пясецких собрался весь клан, вся родня. Во главе — матушка, пани Барбара, величественная, не улыбочивая. Подавали рождественские кушанья: непременного сазана, свекольный суп с грибами «ушками»...

Члены клана Пясецких, не посвященные в давность, искренность наших уз с Маженой, поглядывали на нас, советских, искоса, шипели по-польски; наше вторжение на семейный праздник представлялось им неприличным; здесь все родные, свои. На протяжении всего вечера приходилось напрягаться, не подавать вида, в разговоре придерживаться покаянно-уничжительного тона: да, виноваты, теперь сами расхлебываем.

Крепких напитков в польских семьях на Рождество не пьют, налили по бокалу белого легкого.

Впрочем, все обошлось хорошо, пани Барбара нам улыбнулась, тучи развеялись. Многие члены клана Пясецких заговорили по-русски. Затем запели коленды, по-нашему колядки.

Теперь о Божене. О, Божена!

Нельзя сказать, что пани Божена Корчиньска красавица или аристократка, хотя в ней есть то и другое. Главное в женственном облике Божены — ее глаза, большие, светлосиние, с кротостью рафаэлевых мадонн, с чертями в тихом омуте, переменчивые, как славянское небо. Божена окончила исторический факультет, с ней можно разговаривать об исторических фактах и личностях всех времен, государств; у нее превосходная память, собственное отношение к фактам и личностям. Божена может подолгу декламировать наизусть из «Евгения Онегина», с видимым удовольствием произносит русские идиомы, не переводимые буквально ни на один язык, с подспудным русским смыслом: «Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог». Очень любит читать басни Крылова, с непередаваемым лукавством, с каким-то личным смыслом и назиданием, на польский манер оскальзываясь на звуке «л»: «Ах ты пева, это дево. Так пойдй же попвяши».

Наша пылкая дружба с Боженой — и с Маженой — произошла из любопытства друг к другу как представителей разных миров, цивилизаций. Я поставил себе за правило быть самим собой, без утайки, не мелочиться, и мне ответили тем же. Всякое правило, даже и это: «щедро собою делиться» — как палка о двух концах. Злоупотребить правилом себе во вред не позволяло короткое время пребывания. Давно известно, что лучше недоесть, чем переест, впрочем, и тут до известной черты. После нашей первой вечеринки в «домике» на улице Гошинского мы пошли с Боженой, далеко за полночь, куда-то в центр Варшавы, в круглосуточно торгующий магазин купить того, чего не хватило все еще бодрствующим активным гостям (мы были тогда на пятнадцать лет моложе, чем нынче). По Пулавской вышли на Маршалковскую, тут и круглосуточный

магазин (магазин по-нашему, а по-польски sklep; магазин по-польски — это журнал). Но Божена вошла не в sklep, а в костел, я остался у входа, видел, как смиренно, истово, став на колени, молится русоволосая женщина, похожая на рафаэлеву мадонну и на княгиню Трубецкую из поэмы Н. А. Некрасова «Русские женщины»:

Не слышен здесь житейский шум,
Прохлада, тишина
И полусумрак... Строгих дум
Опять душа полна.

Выйдя из костела, направляясь в магазин, Божена сказала: «После смерти мужа я ни разу не приглашала гостей в наш домик. Не позволяла себе... как это сказать по-русски?.. увеселяться. Я носила траур. Это было в первый раз, что я себе позволила снять обет».

В тот раз и в последующие наши встречи с Боженой я услышал от нее несколько историй из ее неординарной судьбы (некоторые истории рассказывались неоднократно, с вариантами); постараюсь их воспроизвести, ибо линия жизни Божены получит некое продолжение — в приобщении к России ее мальчиков, Гжегоша и Карола, спустя годы, у нас в Санкт-Петербурге и чухарской провинции. Одна история примерно такова: студенткой второго курса Божена оказалась приглашенной на вечер в один варшавский дом, куда был вхож генерал брони Корчинский, занимавший тогда пост заместителя министра обороны; министром был Генерал — так звали в Польше Ярузельского (может быть, так зовут и по сей день). Можно вообразить все обаяние, прелесть юности, искрящееся веселье, игру ума пани Божены. После этого вечера генерал Корчинский назначил встречу Божене, сказал ей примерно следующее: «Если на то будет твоя воля, я на тебе женюсь. Но мне нужен год, чтобы все как следует приготовить». Божена тоже испросила у генерала время на обдумывание, советы с собственным сердцем. По истечении времени Божена сказала: «Да, я согласна». Но это было не все: генерал Корчинский представил условия, неперенные к исполнению: «Если ты станешь моей женой, тебе надо хорошо выучить русский язык, знать побольше о Советском Союзе, нам придется встречаться с советскими генералами». Генеральские условия не представились Божене неисполнимыми; так все и вышло. Ей было двадцать, генералу сорок.

Еще такая история: когда молодой Корчинский воевал в Испании, в рядах республиканской армии против фаланги Франко, однажды, в передышке между боями, заметил: в определенное время в расположение части фалангистов по горной дороге прибывает походная кухня. Корчинский взял с собою еще двух интербригадцев, как обвал с горы, они обрушились на везомую мулами кухню. Переоделись в то, что было одето на кухонной команде, приехали туда, где расположились с приготовленными ложками франкисты, навели на них шороху. Из засады ударили воины интербригады, дело кончилось полной победой республиканцев. Это — из семейного архива Корчинских.

Как-то Божена надела на шею янтарные бусы с необыкновенно крупными, яркими, без помутнения, бусинами. Я спросил: «Откуда у тебя такие роскошные бусы?» Божена улыбнулась загадочно, как Джоконда, махнула рукой с выражением, что это — пустяшное дело: бусы. «Мне их презентовал... как это по-русски? — подаривал (у Божены не все в порядке с временем, падежами, приставками, окончаниями, суффиксами; вместо «дам» она говорит «даду») маршал Гречко. Мы с мужем были на маневрах на Черном море, плавали на таком кораблике с большими пушками, на крейсере. Я попросила дать мне поуправлять этим корабликом, чтобы он шел точно по курсу. Ну да! По правильному курсу КПСС. Мне давали, и я не отклонялась от курса...» Божена опять махнула рукой, состроила на лице милую гримаску: и это все пустяки. «Там был маршал Гречко, он подаривал мне эти бусы как боевому товарищу».

В 1974 году генерал Корчинский без времени скончался. Из рассказов Божены я знаю, что вся его жизнь, в какой-то степени и смерть, были непосредственно связаны с политическими событиями в Польше. Генеральша (поляки говорят: «генералова») осталась с двумя малыми детьми; государство назначило ей пенсию. «Меня пригласил Генерал, — рассказывала Божена, — мы с ним выпивали много водки, он меня уговаривал: «Иди к нам. Мы для тебя все сделаем». Я сказала: «Нет. Я пойду к Богу». Меня заангажировали... как это сказать по-русски? — меня принимали на работу в «Пакс»...

Когда в 79-м году мы семьей приехали в гости к Божене (чуть раньше у нас гостили Божена с Маженой, об этом дальше), она обратилась в министерство обороны («Едиственный раз!» — завершила нас Божена), нам дали черную «Волгу» с сопровождающим

полковником, с правом ехать куда нам заблагорассудится. Мы съездили в Гданьск к Боженину брату. Полковник открывал рот только для того, чтобы опрокинуть чарку «Выборовой» или «Пшеничной», провозгласить «во здравие» и «за дружбу», шофер-солдат помалкивал в тряпочку. Съездили в Гданьск и ладно: погуляли по Моряцкой улице, потанцевали в ресторане у мола. В Польше повсюду в то время был в моде стриптиз; нас с женой (Катя была еще маленькая, ее не взяли), Божену, ее брата с супружницей посадили, как почетных гостей, за крайний столик к тому месту, где все совершалось. Приветливая, старательная, очень домашняя полька показала нам то, чем не только услуждала избранника, но зарабатывала на хлеб,— свое пышущее здоровьем, белокожее, с выпуклостями-упругостями, упоительными вогнутостями, естество; можно было протянуть руку и дотронуться.

Больше милостью министерства обороны ПНР к генеральше Божене Корчинской мы не воспользовались (и так немало!). Я приехал тогда на собственных колесах, нужды в золотых на бензин не было. Один из вождей «Пакса» (не решусь воспроизвести его фамилию, но знаю, что в ней есть «пш», столь же частое в польской фамилии, как в русской «ов» или «ин»), помню, отечески осведомился: «Тебе деньги нужны? Заходи в „Пакс“, мы тебе дадим сколько надо. Из гонорара за книгу вычтем». Все тогда в Польше, казалось, легко, лихорадочно весело, везде много пили (и у нас тоже). Во главе партии и государства стоял Герек; в пивных про него говорили: «Он не поляк. Он француз». Польша входила в штопор предстоящих ей потрясений. Однажды мы шли по Новому Свету с моим другом, редактором журнала «Новый выраз» Марекон Вавжкевичем; на всех углах торговали, открыты были двери кофеен, баров, пивных, в магазинах полки ломились от всякой снеди; текла по улице праздная, расслабленная летняя толпа. Марек сказал: «Мы живем последним днем. Завтра все может перевернуться».

Летом 1979 года я пригласил Божену с Маженой, вскоре они приехали. Я усадил польских красавиц в мой «Жигуль», мы помчались в самое сердце России: в Лугу, Новгород, Старую Руссу. Иногда я останавливал «самоход», приглашал милых дам поваляться в траве, в ромашках, колокольчиках, васильках. Дамы валялись без жеманства. Я наставлял моих гостей: «Вот это Россия, девушки! Вот это наша земля. На ней мы стоим, ее мы любим. Как жить без любви?» Девушки соглашались: «Без любви никак». Я приглашал очаровательных полек полюбить вместе со мною тепло этого дня жизни на моей Родине, теплую землю, Россию. Пани предрасположены были в то лето к межнациональной любви.

Мы завернули на берег Шелони, в деревню Старый Шимск, к моему другу, здешнему крестьянину и поэту Ивану Ленькину. Иван учинил костер и уху. День незаметно вошел-погрузился в белую ночь. Жена Ивана Тамара оказалась тоже польской, ее родители жили в Варшаве в Мокотуве, там же, где живут Мажена с Боженой. Сколько раз представляется случай убедиться, как тесен наш мир, как перепутаны корни судеб людей, государств! Мы купались в Шелони, возвращались к костру, прикладывались к ухе и другому, валялись на теплой земле, озябшей к рассвету от росы. Утром в меня вошел радикулит, как входит надзиратель в камеру заключенного, размечтавшегося ночью,— с жестокой непрекаемостью несвободы. Все же я переусердствовал, перебрал в порыве нравственно обняться со всем человечеством в лице двух польских ундин. Сел к рулю, сведенный пояснично-крестцовым прострелом. Ну и полно, и хватит. Все имеет предел. В каждом из нас заложен чувственный термостат: перегреешься, закипишь — и вырубайся.

Радикулит побыл во мне и вышел, как дурной сон, тотчас забывающийся поутру. Мы поехали в Варшаву и далее (о поездке в Гданьск уже было), все понеслось нам навстречу: грады, веси, холмы, луга, боры, разнообразные «самоходы»... Мы посидели на траве на берегу реки Сороти, сварили на костре чаю — наша семья, любящие друг друга три человека, как полагается, с папой за рулем, с почетным доверием к папе. Каждая семья на том и держится, пока папа за рулем; отпадает от руля — и семья в кювете. Ночевали за обочиной в сосновом лесу. В машине как раз хватило места близко лежать друг к другу трем самым близким людям. Лучшего не бывает, чем пережить эту близость, с одним дыханием.

Под вечер второго дня пути переехали границу около Бреста. Садилось солнце. До Варшавы оставалось двести километров. В последнем телефонном разговоре с Боженой я назвал примерное время прибытия, оговорился: «Если что-нибудь не случится». Божена польстила мне: «У тебя ничего не случится, ты хороший водитель. К вашему

приезде у меня в домике будет банкет, придет вся интеллигенция Варшавы. Будем разговаривать только по-русски».

Ну, хорошо.

Стало быстро темнеть. У въездов в польские селенья, как правило, поставлены знаки: «Осторожно, повозка», на круге нарисована лошадь, запряженная в фуру. Пока было светло, я не придавал рисункам значения. Польские крестьяне куда-то ехали на своих телегах, тогда еще мало у кого из них были собственные «самоходы». Я уступал дорогу, притормаживал, обгонял. В потемках повозки в польских селеньях стали совать под радиатор, как пьяные в городе. Каких-либо правил ездки не соблюдали, витали каждый в своем ареале, как бабочки-поденки. Селенья по дороге от Бреста до Варшавы часты, протяженны. Может быть, крестьяне в польских селеньях ехали в гости друг к другу или возвращались из гостей, хорошо выпив; может статься, еще куда по нужде или так прокатывались по вечернему холодку. Кто же их знает? — чужая душа потемки, особенно в предосенних сумерках за границей. В польских селеньях со знаком при въезде: «Осторожно, повозка!» — приходилось ронять скорость почти до нуля, ползти на брюхе, вглядываться в клубящийся от фар свет, в обступившую со всех сторон темноту с таким напряжением, что, казалось, лопнут глаза. Вот что значит густонаселенная европейская страна, вот что значит частное крестьянское хозяйство. У нас в сельской местности если кто поедет вечером в гости, в магазин (магазин закрыт, к продавщице на дом), то на большом грузовике, на тракторе. Повозки у нас изжиты, дорожного знака, аналогичного польскому, нет.

На пустых отрезках пути я прибавлял газу. В одном месте меня остановил польский гаишник с палочкой, стал сердито выговаривать за превышение скорости. Из машины вышла Катя, девочка-подросток, длинноногий журавлик, с тревогой за папу в детских невинных глазах. Польский гаишник посмотрел на меня, на Катю, улыбнулся, махнул палочкой: езжайте.

Въехали в Варшаву поздно вечером, была суббота, столица ПНР на спала; туда и сюда носились «самоходы», «таксувки» всех марок. В европейском городе надо знать свой ряд, чтобы повернуть в нужном месте куда следует. Для каждого ряда и свой светофор, по-польски свентло (или, ближе, свянтло). У нас меняют ряды, перестраиваются, срезают друг другу носы, в Варшаве так не проходит. Я все оказывался не в том ряду, проскакивал нужный поворот, куда-то мчался вместе со всеми, при первой возможности разворачивался, узнавал те места, по которым только что ехал. Ночной город Варшава носил меня в своем круговороте, как щепку в омуте. Накопленная в стремительном лете от Ленинграда до Варшавы спесь хорошего водила улетучивалась, моя семья начинала роптать. Я прибывался к панели, спрашивал у таксистов, как проехать на улицу Гошинского или хотя бы на Пулавскую, там уже легче. Мне говорили: «Перший свентло, другий свентло, третий свентло, направо...» Я ехал, как мне говорили, но опять затесывался не в свой ряд, то справа, то слева маячила орясина Дворца культуры и науки — подарок Москвы Варшаве, указующий перст москалей...

По Варшаве водил меня мой Леший, как, случается, водит по лесу; надо полагать, Леший тоже поехал с нами в гости к очаровательным польским пани, чары как раз по его части. Когда ему надоело меня водить, или я выполнил заданный им урок, вдруг являлся улочка Гошинского, на ней домик с садиком; где-то в недрах домика мерцал огонек. Было два часа ночи. Я нажал кнопку в калитке железной ограды. Долго никто не выходил, наконец появилась призрачная высокая женская фигура в белом, не то пеньюаре, не то саване. Хозяйка домика встретила нас отчужденно, как будто и не узнала. Вообще, Божена Корчинская умеет принять ту или иную личину, вдруг напустить на себя столько шляхетского гонора, так поставить «москаля» на место, что и не подступишься к ней.

— Мы вас ждали, — сказала Божена. — Ты сказал, что приедешь днем, а приехал ночью. Здесь была вся интеллигенция Варшавы. Мы тебя ждали, а ты не приехал. Почему ты не приехал?

Я стал оправдываться, но меня не слушали. Однако мало-помалу мы втягивались в домик, доставали, ставили на стол свои припасы. Являлись к столу отдельные представители интеллигенции Варшавы, по тем или другим причинам заночевавшие в домике. Одного интеллигента нашли в садике заснувшим под яблоней на траве. Настроение поднималось, о несбывшемся забывалось. Нас поселили в двух спальных комнатах на втором этаже. Внизу была большая гостиная с прекрасной библиотекой польских, французских, английских, русских старинных отборных книг, кабинет хозяйки дома генерала Корчинского, в том виде, каким был при хозяине, с рогами, шурами, ружьями. В цокольном углубленном этаже тоже можно было жить, туда и переместилась хозяйка с нашим

приездом. И так нам всем хорошо зажилось в домике у Божены! Про мальчиков, Гжегоша и Карола, кажется, совсем позабывали, хотя они уже были не маленькие, все видели, по-своему соображали, завязывали знакомство с нашей Катей, впрочем, гораздо осторожнее, чем мы завязали знакомство с Боженой (Катя тогда была очень мамина дочка, да и теперь). В доме у Божены жила ее как бы домоправительница-компаньонка, симпатичная, пухлощекая, с веснушками Веся, приглядывала за мальчиками, главное, кормила (не в обиду маме будь сказано; на маме все в домике на улице Гошинского: и мальчики, и Веся; мама — стратег).

Веся тогда училась на журналистку; мы съездили в гости к Весиным родителям в лесничество в буково-грабовом лесу на берегу Вислы, в лесной дом с собственным медом и медовухой, с земляничным, черничным, малиновым вареньями, рожками и шкурками косуль на стенах, маринованными опятами, полным достоинства и доброжелательства охотничьим псом, степенным котом, умиротворяющим духом естественных радостей жизни добрых, открытых душ. Живущие в лесу люди одинаковы на всем земном шаре. Меня хлебом не корми — только дай поговорить с лесными людьми: о зайцах, глухарях, рябчиках, медведях, окунях, лянках, язях, пусть о косулях, фазанах, зубрах. Дай Господь здоровья Весиным родителям, коли они живы, а если нет, то земля им да будет пухом.

Мы съездили с Маженой к ее матери в Закопане...

При слова «Закопане» память тотчас предлагает картину из моего туристического прошлого. В начале шестидесятых годов, в пору моей второй молодости, я был в Закопане с группой — по линии профсоюза культуры. Всем было весело, за рубль давали двадцать злотых, а на двадцать злотых — у! лети душа в рай! Как-то после танцев в ресторане (танцевали тогда не врозь, а парочками в обжимку) мы вышли с моей партнершей по танцам, молодой, птицеголосой русской женщиной, коллегой по профсоюзу культуры, в пахнущую мартовским морозцем ночь, в синеватые под фонарями, искрящиеся снега. Нам подали закужавелую лошадку, впряженную в легкие сани с медвежьей полостью, с улыбающимся возницей. Мы сели, укрылись медведем, зашелестели полозья, заёкала селезенка у лошади, ямщик запел: «Закопане, Закопане, сердце закохане...» Как в рассказе Аверченко «Все заверте...» Боже мой! Мог ли я тогда предположить, что в недалеком будущем буду прокатываться по закопанским горкам на собственном авто, в обществе двух прелестных дам и похожего на меня моего ребенка?! Воистину неисповедимы пути Господни!..

Мать Мажены Пясецкой пани Барбара проводила лето в Закопане, в особняке, сохраненном правительством за семьей Пясецких, по-нашему, на госдаче. Впрочем, возможно, замок Пясецких содержал «Пакс», не знаю. Пани Барбаре оставили и машину с шофером (так было в 1979 году).

В замке Пясецких в Закопане соблюдался строгий, чинный, ритуальный распорядок; как и в доме в Мокотуве, к столу выходили точно по часам. По усадьбе вдоль ограды бегала овчарка величиною в полтора брянских волка. С ней страшновато было даже обменяться взглядом.

Шофер Пясецких Казимеж повозил нас по горным дорогам. Он первым заговорил по-русски, со словечками того лексикона, какой пришел в нашу литературу вместе со снятием запрета на лагерную тематику. Первым делом Казимеж сказал, что не разговаривал по-русски с тех пор, как освободился из лагерей, где провел десять лет, сначала на Печоре, потом на Колыме. В войну он партизанил вместе с Болеславом Пясецким...

— Нас на баржах привезли по Печоре, — рассказывал Казимеж, перенося ногу с газа на тормоз на горном серпантине, где повизгивали баллоны на крутых виражах, — высадили в тайге... Стали лес валить, бараки строить, зону огораживать. Мошкарка ела, а после морозы. Кто послабее, те откидывали копыта; у меня, слава Богу, силенка была, я из крестьянской семьи, ко всякой работе привычный. И в войну тоже нахлебался по завязку. Так что мне было легче, не доходил. Да... Стали строить пекарню — без хлеба и эзкам и вохре хана. Стены поставили, крышу, а печки нет. Всех выстроили, начальник лагеря спрашивает: «Печники есть? Надо печь скласть, хлеб печи». Никто не выходит. А мне в молодости раз пришлось печь класть, родители дом строили, все сами и печь вместе клали, в ней хлебы пекли. У меня батька был мастер на это дело. Я думаю: пан или пропал. А риск большой: что-нибудь выйдет не так — и пустят в расход как вредителя, это им раз плюнуть. А и на общих работах тоже доходить, раньше или позже дашь дуба. Я высунулся из строя: «Я печник». Стали класть печь, подручных я себе выбрал тоже поляков. Склали. Первый раз затоплять — у меня душа в пятках: начальство собралось, а вдруг тяги не будет? — тут же бы и пришили. Знаете, и добрая печь,

когда долго не топишь, дымит, а новая тем более. Я загодя дровишки подсушивал, лучины нащепал, бересты запас, все сам сложил в печь... Как первый-то дымок наружу повалил, у меня темно в глазах стало, ну, думаю, все: стал про себя молиться... Слава Богу, взялось, загудело... Меня и пекарем назначили, выпекал лагерный хлебушко, правда, жидковатый, но жить стало можно... Урки на меня всю дорогу зуб имели, тоже могли пришить; так и жил между двух огней: один в печке, другой в бараке на нарах. Может, они и в этап меня спихнули — на Колыму. Там на рыбных промыслах вкалывали, тоже жить можно, опять повезло. Наверное, в рубашке родился... — Казимеж светло, изнутри улыбнулся, будто тяжесть свалил с души. — Это я вам первым русским рассказываю.

После Мажена нам досказала историю Казимежа:

— Поляков не отпускали из ваших лагерей. Почти никто не возвращался в Польшу. Папа подавал апелляцию на Казимежа... Он возвратился, стал шофером у папы. Папа только с ним ездил, больше ни с кем.

На обратной дороге из Закопане в Варшаву в Кракове я подвернул к бензоколонке. Сразу мой «самород» облепили юноши и девушки, все вымыли с пеной, проверили «стиснение» в шинах, масло в картере, хотя я ни о чем таком их не просил. Полез за бумажником расплачиваться. Мажена опередила меня: «„Пакс“ оплачивает твои дорожные расходы». Вот как легко тогда жилось в Польше автору книг, издаваемых «Паксом», — «неидеологического содержания».

Краков мне больше нравится, чем Варшава, ну да, как у нас приезжие говорят: Ленинград нравится больше, чем Москва. Нельзя сказать, что наши старые провинциальные города, например, Новгород, Вологда или Кострома, нравятся мне больше, чем Петербург, но когда я бываю в Новгороде, Вологде, Костроме, на тихих зеленых улочках у реки, я чувствую почву под ногами, из которой возрос, в меня вселяется неторопливость — в смысле «нам некуда больше спешить», что невозможно в Питере; у людей в провинции другие лица, выражение глаз, чем у людей на Невском, на Литейном; у провинциалов нет кем-то навязанной цели, задачи; в провинции можно просто жить. То же примерно испытываешь и в Кракове после Варшавы.

В Кракове тогда жил мой друг-пшиатель, редактор одного еженедельника Богдан. Мой друг Богдан был круглолиц, смешлив, громогласен, очень любил употреблять для аффектации русской речи весь наличный мат, без понимания дополнительных смыслов, открытым текстом, как дилетант. И вот мы идем с Богданом по одной из улиц Кракова, мой друг громко матерно выругался, помянул мать просто так, от хорошего настроения, из солидарности с коллегой из Советского Союза. В это время вровень с нами ехал на велосипеде обыкновенный обыватель Кракова. Услышав у себя над ухом громкий нахальный русский мат, велосипедист перестал крутить педали, выпустил из рук руль, брякнулся оземь. Богдан громко рассмеялся, а я притих, сочувствуя поляку: может быть, он в последний раз слышал подлый мат в тех самых местах, что и Казимеж.

В Кракове в тот раз был введен в нашу компанию Маженин «подруг» (так сказала Мажена: «Мой подруг») — скромный длинноволосый юноша с замкнутым на какой-то важной мысли лицом угодника. Его длинные, темные, ухоженные, заложженные за уши волосы относились не к моде, а к чему-то другому, может быть, сану. Маженин «подруг» помог мне нести от sklepa до того места, где я припарковал мой «самород», купленную мной резиновую байдарку марки «Рекин» — она до сих пор верно мне служит на нашем Большом озере. (Намедни обежал на байдарке с дорожкой ближние камыши, поймал двух щук; я пишу дорожные картины в моей избе над Озером). Я спросил краковского юношу, учится он или где-нибудь работает; это по-нашему, по-советски: знать, с кем имеешь дело, выяснить социальное положение нового знакомого. Юноша сказал, что он — мних (то есть монах), окончил Люблинский католический университет, сейчас живет в Ватикане... То в Ватикане, то в Кракове, того требует служба в той системе, во главе коей римский папа, а под его рукой весь католический мир с кардиналами, епископами, монастырями, костелами. Мних застенчиво улыбнулся, даже зарумянился: «Извините, я плохо говорю по-русски. Когда я учился, то читал „Братья Карамазовы“ Достоевского — это можно понять только в подлиннике по-русски — великая вещь! Я даже стал думать по-русски. А теперь забыл, извините».

Как видим, молодые поляки интеллигентного слоя выносят из нашей литературы или образа бытования различные... впечатления. Мы привадили к себе наиболее податливых на силу — это прагматики, конформисты, заразили их нашим цинизмом (у тех, кто повязан большой политикой, свои дела), но кто-то обратился душой к духовному смыслу русского опыта, к идеям Ф. М. Достоевского. Хотя вообще-то к этому нашему гению в Польше относятся... не так, как у нас.

Обедали в Кракове, в ресторане, заказывала Мажена. Блеснув своими сумеречными с расширенными зрачком очами, Мажена сказала: «Хлјўснем, бо ўснем», — и заказала в дочки. Мне-то нельзя, я за рулем, семья у меня непьющая, а Мажена со своим «подругом», ватиканским монахом, «хлјуснули»; по католическому уставу это им можно.

В 1979 году мы уехали из Польши, и вскоре закрылись двери. Той Польши, по которой можно было прокатываться на черной «Волге» с прелестной пани Корчинской и молчаливым полковником в придачу, не стало в одночасье, как в 1968 году не стало Чехословакии с моими сердечными друзьями: Аленой Моравковой, Иржи Зузанеком, с прогулками по пражским набережным, когда солнечным опереньем цветет «златый дэждь...» Алена! Иржи! Где вы, милые мои люди? Чехословакия так и не вернулась ко мне, как не возвращается первая любовь... И Польша... Вдруг что-то случилось с Польшей (как мы теперь знаем, не вдруг; и с нами не вдруг). Связи не стало, телефон в домике на улице Гоцинского не отвечал. На письмо не пришел ответ, писать еще — не подымалась рука: что мы могли сказать тогда полякам? Обнадежить, утешить, заверить, остеречь? Ничто не годилось, все отпадало. Только было тягостное чувство вины, постоянная тревога: введем войска, не введем? Что значит военное положение в Польше? Каково там живет моему сердечному другу, переводчику моих книг для «Пакса» Анджею Беню, моим сердечным подругам Божене, Мажене?

Среди множества гадких слов, когда разразился кризис («кризис» — тоже гадкое слово), явилось словечко «мораторий», то есть умерщвление, заглушка, запрет. Наложено было мораторий на польскую дружбу, любовь, взаимность, прогулки по Краковскому Предместью или по берегу Шелони с польскими пани (однажды мы с моим переводчиком Анджеем Беном гуляли по острову Валааму). Я думал о сыновьях Божены Корчинской Гжегоше и Кароле: неужто они возмужают в режиме военного положения под прицелом «великого соседа», с отравой ненависти в душах к нашей стране, как возмужали мальчики в Праге после августа 1968 года?..

Зимой 1985 года «Пакс» пригласил меня на торжественный международный съезд по случаю своего юбилея. Ну, хорошо... Варшава напомнила мне мой город в последнюю зиму войны, когда только что включили фонари на улицах... Неубранный тающий грязный снег на Маршалковской, кое-где тлеющие лампочки уличного освещения, очереди в продуктовые лавки, изредка проезжающий по улице «самоход»...

Я решительно ничего не знал про Божену, Мажену... Мы сидели в ресторане отеля «Олимпия» — лучшего в Варшаве, класса «Хилтон», — где разместились приглашенные со всего света на юбилей «Пакса», с упомянутым мною ветераном-руководителем этого общества паном Пш... и приставленным ко мне переводчиком паном Чайковским, водку закусывали стронгами, то есть балтийскими форелями. Слава Всевышнему, Речь Посполита не сгинела, переболела своей болезнью внутри себя, без ножа «великого соседа», старые мои друзья не забыли старой дружбы (старый друг лучше новых двух)... Я спросил пана Пш... про Божену Корчинскую... Он принялся листать блокнот, Божена жила где-то в другом месте, листая, приговаривал: «Удивительная женщина! Первая дама Польши!»

В свое время Божена сказала мне, что пан Пш... сделал ей предложение. «Он тогда много пил, — рассказывала Божена, — но бросил, ради меня. Он хороший человек, но это мне было не нужно».

Пан Пш... дал мне новый Боженин телефон, я ей позвонил, сказал, что это я. Божена как будто не удивилась: «Это ты? Тебя так долго не было слышно. Где ты был?» Божена пообещала приехать, но долго, долго не приезжала. Наконец явила себя без каких-либо признаков уныния, смирения, нужды — власти обстоятельств, все та же Божена, царица и мадонна, первая дама Польши. Весело рассказала, как по дороге у нее сломался «самоход», как ей помогали его починить, но все равно пришлось оставить где-то на полпути; обязательно выльют бензин и украдут аккумулятор.

Теперь нам с Боженой предстояло заново привыкнуть друг к другу, довериться, как бывало. Потом и с Маженой. Через пять лет моратория. И так мне было отраднее тогда, что доверие не иссякло — самое дефицитное в наше время вещество.

Оказалось, что «домик» на улице Гоцинского Божена сдала американскому дипломату, на это, главным образом, семья и живет. Еще Божена работает на студии документальных фильмов, пишет сценарии на медицинские темы и может свести меня к лучшим врачам Варшавы, даже уложить в госпиталь (я тогда только что перенес инфаркт). Но и это не все: Божена с подругой Эльжбетой написали книгу «Французская кухня» — целую энциклопедию; книга вышла в свет, на нее большой спрос, не только в Польше. Божена купила (она так сказала: «покупила») маленький «самоход», самый малень-

кий из всех, какие бывают; у нее с ним множество приключений. И еще купила квартиру на Новом Свете, пока живут в квартире друзей, уехавших на время в Копенгаген, скоро переедут на Новый Свет. Божена сказала, что Генерал воеет один со всей Польшей, но победит Господь Бог. По всему было видно, что Божена, воевавшая в одиночку с обстоятельствами, нуждой, кризисом, военным положением, может быть, и Генералом за будущее своих мальчиков, победила. Слава Богу, что так бывает, что есть на свете Божена — первая дама Польши!

Как-то ночью, в третьем часу, я вышел из дома Божены в новом квартале Варшавы, похожем на наше Купчино, после дружеской вечеринки, последним из гостей. Меня проводил до стоянки такси Гжегош, высокий широкоплечий юноша, темноглазый, но с материнским овалом лица, с мягкостью черт, изменчивостью выражения. В Кароле больше отцовского — жесткого мужественного начала. Падал мягкий снег. Подошла «таксувка» какой-то иномарки. Едучи по ночной Варшаве, чтобы что-нибудь сказать, я сказал: «Падает снег, как в Москве». Водитель согласился: «Да, зимой у нас бывает, как в Москве, хотя зима у нас мягче». — «Вы хорошо говорите по-русски», — сказал я шоферу, чтобы поддержать разговор. Шофер тоже был склонен поговорить с ночным пассажиром. «Я так же могу и по-французски. Я работаю в органах безопасности. Майор. По ночам прирабатываю на такси. Иначе не свести концы с концами».

С утра я присутствовал на заседаниях «Пакса», на службах в костелах, с органом; меня свозили в Люблин для бесед в католическом университете, местном отделении «Пакса». О чем говорили, я не запомнил: тогда еще не пришло время откровенности, как на духу, выворачивания себя наизнанку. Однажды чуть свет спустился на лифте в цокольный этаж отеля — поплавать в бассейне, отмякнуть в сауне. Отдал пану, сидящему у борта бассейна за столиком, пятьсот злотых, поплавал, направился в сауну, открыл дверь... В розоватом сумраке пара на полке сидела юная пани в чем мама ее родила. Будучи советским до мозга костей, я испытал примерно то же, как если бы ошибся дверью, угодил в дамский туалет. В смятении чувств прикрыл дверь, обратился за помощью к пану, сидящему за столиком: «Пан, там голая баба». Пан заверил меня: «Так, пан, так. У нас так. Иди». Собрался с последними силенками, пошел (очень хотелось попариться, и деньги заплачены). Сказал видению: «Добрый дзень, пани». В ответ услышал музыку, первый такт увертюры: «Добрый дзень»...

Обедали гости «Пакса» в ресторане отеля «Олимпия» (мой переводчик пан Чайковский меня наставлял: «Пей водки сколько хочешь, „Пакс” богатый, платит за все»). Как-то оказался за одним столом с мадам-патронессой из Парижа, хозяйкой богословского издательства, пастором из Ирландии, патером из Аргентины. Мадам приглядывалась ко мне с какой-то интуитивной опаской. Узнав, кто я таков, откровенно призналась, что впервые так близко видит живого советского человека. Утвердительно-сочувственным тоном заметила, что я, надо полагать, впервые в ресторане. Дама-патронесса располагала достаточной информацией, что в Советском Союзе мороз, медведи, водка, Сибирь (слово «перестройка» тогда еще не вошло в обиход). Я не стал разочаровывать парижанку, скромно с ней согласился, что да, в таком почтенном обществе я впервые, что было правдой. Даме понравился мой ответ, за столом воцарилось единодушие.

На заключительном юбилейном банкете «Пакса» мне дали слово по протоколу как единственному представителю Советского Союза (правда, со мною приехал «литературовед» из Москвы, он почитал себя главой делегации, но слово дали мне; после он дулся, как мышь на крупу). Сказав свое слово, я отошел к пиршественному столу с осетрами и поросятами — у каждого поросенка в зубах пук петрушки. Мой переводчик пан Чайковский, держа в руках вилку, радостно обнадежил меня: «Ну вот, хорошо поработал, теперь напьемся». Что мы и сделали.

Нашими соседями по столу оказались бывший премьер Польши Циранкевич с супругой. Настроение на банкете у всех было приподнятое: только что в Женеве Горбачев пожал руку Рейгану; в мире чуть-чуть поворотило на «ясно». Циранкевич рассказывал забавные истории, например, такую: как-то созвали в Варшаву на совещание министров обороны соцстран. Посовещались; министр обороны ПНР маршал Рокоссовский пригласил всех поохотиться на фазанов. «Рокоссовский прекрасно стрелял влёт, — вспоминал бывший премьер Циранкевич. — А министр обороны Румынии выстрелил по сидящему на ветке фазану, тот не падает. Он еще раз по нему, опять не падает. Рокоссовский рассмеялся: «Не трать зря патронов. Он же привязанный».

Самое удивительное, что вдыхало душевный смысл в мои отношения с поляками на всех уровнях: «Пакс» издавал книги русских авторов даже в потемках кризиса: «Кануны» Василия Белова, «На войне как на войне» Виктора Курочкина, мою книгу эссе «Глоток свежего воздуха» (в переводе Анджея Бенья). Добрые люди продолжали делать добрые дела, невзирая на мораторий.

Божена Корчинская обнадеживала своих недоедающих соотечественников тонкими рецептами французской кухни. Сама-то откуда их разузнала? Все же есть что-то загадочное в этой даме, для москаля непостижимое, как в самой Польше. О, Божена!

В декабре 1989 года в квартире на Новом Свете мальчики обозначили себя гораздо заметнее, чем прежде бывало. Мама как-то потеснилась, отдала пространство сыновьям, хотя по-прежнему служила осью, движителем этого микрокосма. Мальчики повозили нас по Варшаве на мамином «самоходe» — то один, то другой. Кажется, в них не угас воспринятый от мамы интерес — побывать в России; мальчики не забыли русский язык.

Мама иногда приезжала в Москву к работающему там в торгпредстве брату, мы виделись с ней; Божена напоминала: «Ты пригласи моих ребятишек, свози их к себе в деревню».

Мальчики побывали в Париже, еще где-то; Россию мама предполагала для них как необходимый предмет познания — на будущее.

В первый раз Гжегош с Каролом приехали к нам встретить 1991 год, привезли из Польши «кушанья». Не то чтобы у нас не было своих кушаний, но слухи о нашем кризисе, упадке, голоде витали в Польше, как повсюду. И еще врожденное национальное польское молодечество: у нас свои трудности, но за чужой счет не живали, сами с усами. Мальчишку уводила куда-то Катя, старшая Гжегоша двумя годами, я думаю, старшая и по возрасту души; ах, Катя стала такая взрослая.

Как-то я проезжал мимо той школы, куда мы привели маленькую Катю в первый класс, с бантом на голове, с георгинами в руках, с глазами, полными слез. У меня вдруг тоже хлынули слезы — о том невозвратном дне, о детстве нашего дитя; я привернул к панели, проплакался, благо улочка тихая, никто не видал.

В июле того же года мальчики опять приехали к нам, уже совсем свои, наши мальчишки, благоспитанные, такие независимые — и домашние, мамины, не испорченные улицей сынки. И вот мы едем с мальчишками; дорога возносит, опускает, с увала на увал. Ехать долго: Волховский с Тихвинским районы — вот и вся Польша. Везде зелено, ни души, селения редки, ни одной повозки. Помню, в Польше еще был дорожный знак: «Осторожно, лягушка» — на кругу нарисована квакуша. Сначала я подумал, что это поляки берегут своих лягушек, может быть, экспортируют их в Париж, как мы одно время экспортировали с болот из-под Луги, покуда всех не искоренили. Мне объяснили, что берегут не лягушку, а водителя: на раздавленной лягушке можно поскользнуться. У нас такие пустяки оставляют без внимания.

Едучи с польскими мальчишками (то есть с молодыми мужчинами), сыновьями Божены Корчинской, по необъятным зеленым просторам нашего Северо-Запада, я испытывал то же чувство, как некогда, имея справа соседкой их мать (Мажена сидела сзади, потом менялись местами): смотрите, вот это — Россия, запомните, как ее много, сколько в ней красоты — незаповеданной, не огражденной, не приватизированной, для всех открытой, даровой. Когда я еду по этой дороге или смотрю на мое Озеро, мне всегда не хватает сочувствующей души — поделиться; в себя одного не вместить. Мальчики клевали носами после целой белой ночи гулянья в Питере, в Катиной молодой компании, далекой от меня, как современная российская демократия. То есть я сам всю дорогу почитал себя демократом (без сомнения, был молодым), а не: у нынешнего демократа и вид другой, и образ мыслей; не то чтобы я не понимаю, что он говорит, но речи его мне чужие. Я с детства усвоил, что демократия от демоса — от народа; народ по-прежнему безмолвствует. Все народы ревмя режут, только русский народ помалкивает — о себе, о своем. Чухари уперлись, поляки уперлись, а мы, русские?.. Впрочем, правящие страной городские чиновники-демократы — одно, русский народ — другое. Все привирает душа, в этом ее работа, то бишь прелесть жизни. В городе я посторонний прохожий; отъеду за вывеску «Ленинград» (другую вывеску еще не намалевали), душа встрепенется, как выпущенная на волю синица. Обратно еду, прочту ту же самую вывеску, душа облегченно подкажет: вот мы и дома, здесь наши родные могилы. Господи, помилуй нас, грешных!

Ехали мы ехали, наконец уткнулись носом в ограду дома Текляшовых, Ивана и Маленькой Маши, на горе над Озером, в деревне Усть-Капша. Маленькая Маша встретила

нас как жданных гостей, запереливалась синева-доброта ее глаз. Напила нас молоком-чаем, похвасталась, что новый председатель сельсовета Доркинчев дал ей работенку — для пенсии не хватало стажа — перевозчицей при пароме через Озеро. Паром перевозит машины, то есть кто едет, сам себя и перевозит; кто пришел на своих на двоих, того теперь перевозит Маленькая Маша в большой лодке-соминке. «Сама-то я не перевожу-у,— пропела Маленькая Маша,— Ива-ан перевози-ит, а я при ем как собачонка сижу-у».

Приехали к парому, на том берегу Иван косил траву. Я крикнул ему, он тотчас переехал в сельсоветовской лодке, пожал всем руки. Его левый глаз совершенно заплыл, распухло веко. На мой вопрос ответил: «Оса клюнула». Иван сноровисто отвязал паром, помог установить въездные-съездные железки (проехать по ним нужен навык), хватался за трос и тянул с такой полной самоотдачей, безразличием к себе, как поршень двигателя.

В Корбеничах Жихарев тоже как будто нас ждал у причала. «Я вас отвезу, только мотор у меня стучит, сам не знаю, в чем дело». Мы вышли в Озеро, мое сердце переполнилось горделивым чувством щедрого дарителя: «Вот, смотрите, мальчики, это мое Озеро, я вам его дарю». — «В Польше тоже есть большие озера,— сказал Гжегош,— только у нас на таком озере были бы тысячи людей, ни одного свободного места». Ни лодки, ни рыбака, ни праздного человека на нашем Озере не было видно (строитель дома на мысу стучал топором). Одна деревня скрылась из глаз, через четверть часа в солнечном мареве, синеве небес, близине облаков, лиловости зацветшего кипрея на лугах, прозелени трав и лесов стала выказывать себя наша деревня: внизу Берег, поодаль на горе — Гора. «Нам здесь нравится», — сказал Карол. Ну вот и хорошо.

Стучал мотор, лодочник-моторист мучился. «Я вас, ребята, на Берегу высажу,— извиняющимся голосом попросил Володя Жихарев.— Ко мне должны из Тихвина врачи приехать, мои друзья, я боюсь, мотор не дтгнет. Вы на Валеркином баркасе доберетесь». Подойдя к берегу, заглушив мотор, Володя крикнул: «Валера-а!» Валера явился, я уже знал, что в жизни Валеры Вихрова, сына Василия Егоровича, механика, который, бывало, ездил отсюда с Берега на работу в Корбеничи верхом на коне, а теперь переехал в Пашозеро «в дома», благодетельные перемены: Валера взял в жены дочь питерской женщины Ады, купившей избу у Федора Ивановича Торьякова (фиксирую данность, без загляда вперед). Валера уже купил двух коз, завел кроликов. Новая Валерина теща тоже завела коз и баранов. Вот так завязывается жизнь в покинутых вепских селениях на берегу нашего Озера. Валера сказал: «Дачников нет, мы одни в деревне. Красота!»

В Валерином баркасе мы доплыли до моего причального места, первыми в это лето поднялись, целуясь с крапивой, на крутой склон. Из высокой травы, маленький, похожий на кузнечика, с кудрявой бородой, появился мой сосед дачник Лева, сказал: «Глеб Александрович, давайте я вам подключу электричество». Лева достал из кармана плоскогубцы, мы подставили лесенку, в моей избе зажегся свет. «Как будто нас здесь ждали», — сказали мальчики. «И всегда будут ждать,— заверил я мальчиков.— Запомните, есть в России такое место, где вас ждут. Покуда я жив».

А покуда? Кто знает? Кукушки что-то молчат.

Пошли на Ландозеро. Я побегал по берегу, ища то место, где клюнет. Натаскал с десяток окуней, вернулся к мальчикам, расстроенным: у них не клевало. Карол сказал: «Поляк закинет удочку и будет смотреть на поплавож, ждать». Мальчики разговорились по-русски. Я их научил, как надо подладиться к ландозерским окуням, и у них пошло дело. Мы натаскали с полсотни горбачей. Уху сварили на костре у меня на подворье — на самом красивом месте в округе, на крутом яру, откуда видать простор Озера, неба, лесов, холмов.

В то время, как мы приехали с мальчиками, поспела земляника. Я не помню другого такого земляничного года, как этот, и такого комара, такой мошки — лето сырое, теплое.

Пошли за земляничкой, я-то знаю, куда идти, хотя вблизи все выщипано дачниками. Нашли земляничную поляну, усыпанную сладкой, духмяной, пунцово-красной лесной ягодой (в Польше такой и не знают). Воздух над поляной был дымно-сизый, непродыхаемый от мошкары. Я развел костерок-дымокур; отрывались от земляники, отдышивались в дыму. Мальчики терпели, крепились, заверяли меня в том, что в Польше тоже есть комары. Наша чухарская мошка как будто взбеленилась, поставила целью доказать, что не в пример польской злее. Белая тонкая кожа варшавян кровоточила. Я обнадеживал мальчиков: «Вот придем домой, нырнем в Озеро, все как рукой снимет, в нашем Озере целебная вода». Пришли, нырнули, все как рукой сняло. После Гжегош спросил: «Что значит: „как рукой снимет?“» — «Это если в детстве у тебя болело какое-нибудь место, мама погладит больное место, и все как рукой снимет».

Я заметил, что у Гжегоша и Карола есть трогательное свойство какой-то родствен-

ной и товарищеской привязанности друг к другу. По-видимому, им подолгу приходилось довольствоваться друг другом при их чрезвычайно занятой, увлекающейся маме. Если я не выводил мальчиков куда-нибудь из избы, они могли оставаться с глазу на глаз, о чем-нибудь интересном обоим разговаривать. Так было в Ленинграде, само собою, в Варшаве. Меж ними существовали раз взятые отношения: почтительность младшего к старшему, заботливая попечительность старшего о младшем (гоняя на «самоходе», Карол попал в аварию, у него удалена селезенка). Обыкновенно, прежде чем что-либо высказать, Карол делал вступление: «Мой брат сказал...» Например: «Мой брат сказал, что Лева уже имел плоскогубцы в кармане, когда мы сюда ехали». Мальчики тонко подмечали особенности характеров, отношений, запоминали услышанные словечки. И очень много курили, особенно младший, так что нам не хватило курева; собирали наши окурки, вытрясали табачок, заворачивали в газету (если читатель помнит, в прошлом году я привез из Англии в Нюрговичи несколько экземпляров газеты «Гардиан», так и не прочел; газетная бумага оказалась хороша для сигарок и козих ножек).

Мы сварили земляничное варенье, всласть наелись пориджем с вареньем, поймали в протоке двух щук, наелись рыбой во всех видах, нажарили лисичек на постном масле — в Польше это деликатес. Моя деревня, вепские леса, воды, капризное здешнее небо явили милость польским гостям — и ладно, и хорошо.

Обратно мы плыли на веслах с кооператором Андреем. Андрей рассуждал в том смысле, что его искусные руки художника-гравера по камню нашли бы себе истинного ценителя где-нибудь... в Италии, его бы камей пошли совсем по другой цене. Я заметил, что в Италии художников пруд пруди, а на Вепской возвышенности — один Андрей. Терпенье и труд все перетрут... Андрей задумался. Хлынул дождь. Пришлось налегать на весла.

В Корбеничах зашли к деду Федору с бабкой Татьяной Торьяковым (вспомним, что дед 1901 года рождения). И здесь нас вроде как ждали. Старики оказались еще хоть куда. Дед наладился в магазин за бутылкой, я отговаривал, но дед бутылку принес (ему дали по сентябрьскому талону, хотя был еще август). Стаскал на стол морошковое варенье, картошки, яйца, баранину, молоко, заварил чаю. И выдал нам две пачки болгарских сигарет. «Сам-то я не курю, знаешь, а взял, давали дак. Нате, берите».

На другой день в Питере я проводил мальчиков на Варшавский вокзал. Теперь что же? Теперь обратно в деревню доживать недожитое, доплывать недоплытое.

Ау, Гжегош, Карол! Не поминайте лихом. Добром красен сей мир, на том стоим, тем дышим.

3

Да, так вот... дорожные картины. Теперь я еду один по дороге Ленинград — Мурманск, это наиболее свойственно мне: автономное плавание. Дорога в будень пустынна, как всюду в нашей пространной державе (на Невском проспекте не протолкнешься); бегущие навстречу пейзажи знакомы и новы; слева в окно поступает воздух, пахнувший началом августа — созревания всего, что произрастает на этой почве, на приладожской равнине, на Вепской возвышенности. Прочитываю, как достаю из памяти названия сел, русских, вепских: Кисельня, Шум, Лужа, Колчаново, Бесовка, Весь, Кильмуя... Езда в одиночку — автономное плавание — предоставляет свободу выбора: поехать туда или сюда. В этих краях у меня есть где остановиться, с кем повидаться. Подрулишь к какому-нибудь давно стоящему дому, хоть в Кобоне, хоть в Новой Ладоге, хоть в Паше, навстречу тебе выйдет какой-нибудь сивый мужик (если не на рыбалке, не на охоте, не на работе), оглядит тебя, сверит по памяти, кто таков, в меру обрадуется-попеняет: «Давненько ты у нас не бывал». — «Да, знаешь, я все больше у вепсов. Вот еду к вепсам, думаю, дай загляну». — «Вепсы — хорошо, а и своих забывать не надо», — проворчит сивый мужик. Это — присказка, потом начнется сказка.

В Паше заворачиваю к Геннадию Павловичу Нечесанову, заместителю директора леспромхоза. Когда-то он был директором Пашской сплавной конторы, но более известен как сын легендарного директора военной и послевоенной поры, Героя труда Павла Нечесанова. (Фамилия полностью отвечала характеру; его и звали Нечесаный: причесывать себя под одну гребенку никому не давал). Нечесановский дом памятен мне с тех пор, как я писал повесть «Запонец» — в середине шестидесятых — о пашских сплавщиках. То есть местность в повести называется по-другому, фамилии персонажей мной выбраны произвольно, но прототипы узнали себя. Павел Александрович Нечесанов успел до смерти

прочсть мою повесть — и ничего, принял, даже согласился с вымыслом, ибо жил высшими интересами государства, давал стране лес, на мелочи душевных сил не тратил — мощная была фигура. И мой отец тоже такой был — управляющий трестом «Ленлес», король дров, близкий друг Павла Нечесанова. Оба — выходцы из этой подзолистой, искони новгородской почвы, из крестьянских семей (отец родился поближе к Ильмену, Нечесанов к Ладого), местные мужики — кряжи.

С младшим Нечесановым вышло посложнее, некоторая сложность осталась между нами по сю пору. Когда мы с ним выпиваем, он мне говорит, то есть не мне, а кому-нибудь третьему, четвертому, если даже такового и нет за столом: «Он фамилии изменил (обо мне, авторе, говорится в третьем лице, как об отсутствующем), но нам же ясно, про кого писано. У него Гошка по птичкам стреляет, а Гошка за этих птичек душу отдаст. Браконьер попадает, он ему ноги повыдергает и обратно вставит, чтобы задом наперед шел и зарубил себе на носу: сюда не соваться. Я вот этими корягами столько наворочал, выкорчевал, вспахал, посеял, накосил, на весле прошел, моторов перебрал и расточил...» — Он показывал свои коряги, правда, впечатляющие: толстые, оплетенные жилами, с заскорузшими, плохо гнущимися пальцами. Геннадий Нечесанов тоже кряж, ростом поменьше отца, но весь наполненный силой, твердостью соснового комля, медлительный в движениях, будто примеривающий, к чему приложить силу.

Претензия Геннадия Нечесанова, как одного из прототипов моих сочинений, ко мне, автору, сводилась вот к чему: «Других вывел, а про себя ничего не сказал, как он тут в наших окопках барахтался...»

Вот, оказывается, что задело Геннадия Нечесанова — мое самозамалчивание: почему других вывел, а себя нет, хотя сам-то ничуть не лучше выведенных, а некоторым и в подметки не гожусь. Неожиданный поворот, правда? в извечном щекотливом противостоянии: писатель — прототип персонажа.

В те давние времена, теперь можно сказать, в ту канувшую эпоху, я приезжал на Пашу, на Оять, на Ладогу не «писателем» — собирать материал, изучать жизнь, а охотником в резиновых сапогах с заколенниками, с ружьем и заплечным мешком. Месил болота, ночевал у костров, справлял открытие охоты в камышах, местные принимали меня в свою компанию, знали, что «пишет», даже почитывали — и краем глаза приглядывали за «писателем», подмечали его промашки и грешки. Все пройдут по болоту, а он провалится в яму, задницу намочит — потеха! У костра все говоркие, а ему и рассказать нечего, на язык не боек. Рюмочку мимо носу не проносит. У всех в мешках по птице, а то и по две, а он палит в белый свет, как в копеечку, — умора! Почему же писатель? Почему других вывел, а себя пожалел? Такая фигура умолчания писателя показалась Геннадию Нечесанову несправедливостью. За справедливость он всю дорогу рубил сплеча, за что его и сместили с поста директора первой в области сплавной конторы; двенадцать лет возглавлял ДОЗ по производству парт и табуреток, стиснув зубы, столярничал. Пришло время, вспомнили про Нечесанова — такими кадрами не разбрасываются, — пригласили на руководящую должность в леспромхоз (лес по Паше давно не сплавляют). Геннадий Павлович отнесся к повышению так же невозмутимо, как и к понижению: чувство собственной правоты никогда не покидало его, несколько даже перехлестывало через край, как его двужильная силушка.

И еще всегда жила в нем потребность совершить подвиг, может быть, того требовала слава отца-Героя... В первую военную весну, в 1942 году, Павел Нечесанов, директор Пашской сплавной конторы, поставленный на эту должность моим отцом (отец, тоже выведенный в повести «Запонец», может быть, не со всем согласился, но не высказал сыну чего-либо неприятного, унес с собою в могилу; он был хотя и кряжистый мужик, но до странности душевно деликатный), удержал в запони на Паше громаду приплавленного прошлым летом леса: некому было рассортировать и отгрузить лес, все ушли на войну. Молодой директор с приданной ему командой ленинградских девушек-блокадниц что сплотили, что погрузили в баржи, отправили по ладожским каналам в блокадный Ленинград. На единственном кране на рейде от темна до темна работал единственный крановщик — директор Павел Нечесанов. Слезал с крана — осуществлял общее руководство. За все отвечал головой.

Что тогда значило «отвечать головой», мне запомнился рассказ отца, как его вызвали на заседание военного совета. Стоял вопрос об увеличении лесопоставок фронту и городу. За невыполнение — сами понимаете что... «Вел заседание Алексей Александрович Кузнецов, — рассказывал отец, — я его знал еще по Боровичам, в двадцатые годы он там был секретарем райкома комсомола, я помощником лесничего. У него глаза были... стальные. После заседания он ко мне подошел, за ремень пальцем взял, при-

тянул, прямо в глаза смотрит, взгляда его никто не выдерживал... «Смотри, Горышин, приговора́ трибунала подписываю я». Оттолкнул: «Иди, работай». Вот так, по-отечески».

Геннадий Нечесанов мог вдруг сесть в «казанку» у себя под окном, по Паше в Ладогу — и на остров Валаам. При ветре в Ладогу не пускают самые большие пароходы; шторминушка на Ладоге разыгрывается вдруг, из одной тучки среди ясного неба; отраженные от берегов волны сшибаются друг с дружкой; попадешь в такую передрагу — и амба. От бесстрашия Геннадия Нечесанова перед чем бы то ни было припахивало фатализмом. В отпуск вдруг подхватится и зафитилит куда-нибудь в пески Средней Азии — на отцовской «Волге» первой модели, с двигателем, собственноручно «перебранным и расточенным», семью с собою возьмет и целехонький явится как ни в чем не бывало. Медведей, кабанов как семечки щелкал, даже о таких пустяках не распространялся. На стол в доме Нечесановых на берегу Паши подавали медвежатину, кабанятину. Как-то раз, помню, дикого мяса не нашлось в холодильнике, жена Геннадия Лида, худенькая, голубоглазая, вся лучающаяся добротой медсестра, извинилась: «Что-то наш папа давно кабана не убивал...»

Я завернул к большому нечесановскому дому, постаревшему, как я сам, но все такому же широкогрудому, кряжистому, прямо стоящему, ростом выше соседей. Дом сохранил сходство со своим первым хозяином, что, разумеется, никому из нынешних в голову не приходит. Павел Нечесанов поставил дом рядом с двухэтажной сплавной конторой, рубленой, очевидно, из того же леса. Господи! сколько было в междуречье Паши и Ояти, в межозерье Пашозера и Капшозера чистых боров, красноеся, мачтовых сосен! Все повырбали, сплавили, утопили, реки-озера испакостили. А сами что же? Все та же рвань, голь перекатная, даже новую контору не выстроили; старая так пропахла выгребной ямой, хоть респиратор надевай. Куда все ушло, в социализм? А чем он пахнет?

Что-то изменилось на набережной улице в рабочем поселке Паша: контору леспрохоза, дом Нечесанова — весь ряд — строили окнами на открытую густо-синюю воду широкой в низовье Паши, поодаль, метрах в ста от уреза. Теперь у самой воды, можно доплюнуть, повырастали дачки-коттеджки. Сперва я не придавал этому значения, всюду строятся, дачи растут, как грибы, но позже мне доведется стать свидетелем междоусобного конфликта на этой почве...

В доме Нечесановых оказалось полным-полно дочек, внучек, зятьев; только что стал держать головку самый маленький внук Алеша. Залились радостным лаем собаки — меньше двух повов Геннадий Нечесанов никогда не держал, — а на задах за баней около будки грелся на солнышке еще третий, свернувшись калачом, поджав лапы и хвост: Когда я обжился в доме, мне объяснили, что самый молодой, серый — Шарик; папа с ним ходит на охоту; черный — Байкал; и его папа берет на охоту, но главные его охоты уже позади. А тот, что спит, — Дружок, он уже старенький, на заслуженном отдыхе!

Папы не было дома. Я спросил, где мама. Младшая дочка Геннадия Павловича Галя, похожая на отца, — в старшей Нине больше материнского, — сказала: «Наша мама умерла».

Геннадий Нечесанов вскоре приехал все на той же «Волге» — ее можно сдать в музей отечественного автомобилестроения; на его загорелом, насколько может загореть лицо природного человека на нашем солнце, выделялись глаза, летом зимние, как сколы льда в проруби. Как-то, помню, в бытность Геннадия Нечесанова директором Пашской сплавной конторы мы с ним поехали — он меня взял с собой — весной по сплавным участкам. Мне запомнились две картины. В Ереминой Горе тамошний начальник просил директора что-то убавить, перенести, кому-то передать. В конторе было сумеречно, глаза директора холодно светились. Он сказал: «Ты меня принимаешь не за того. Я в торговой сети не работаю». И точка.

Ночью директор вышел на берег Капши. И я за ним увязался. Было смутно, туманно, еще не белая ночь, но видно. С реки доносились шелест, постукивание быстро плывущих лесин. На том берегу мужик вылавливал багром чурку. Директор сказал ему, что вот сейчас составит акт и все прочее. Вода хорошо резонировала, далеко было слышно. Мужик с багром — давай бог ноги. В ту поездку я усвоил, что молодой Нечесанов в торговой сети не работает, за государственное бревно может головой в ледяную воду (при разборке заломов с ним бывало, ныривал).

Молодому Нечесанову нравилось, что при нем находится как бы его собственный писатель Горышин. И старшему нравилось, я с ним тоже езживал по сплавным участкам; только старший был веселый, похохатывал; сплавщики залом разберут, он мог им выставить ящик водки.

Геннадий Павлович Нечесанов предложил мне съездить на речку Куйвасарь, текущую в Свирскую губу, на охотничью базу к егерю Коле Птицыну, который выведен у меня в повести «День-деньской» как егерь Ванюшка Птахин. По дороге Геннадий рассказывал: «Они ко мне приходят, говорят: «Мы посредники». — «Какие такие посредники? Какой адрес вашего предприятия? Какой ваш телефон, какой счет в банке? Предъявите ваши документы». Они: «У нас пока нет постоянного адреса». Я им говорю: «Выйдите из кабинета, закройте дверь с той стороны. Когда будет адрес, приходите, поговорим». Один такой явился гастролер: «Вы нам сто кубометров леса, мы вам «Жигули» девятой модели». Я ему говорю: «Пригонишь „Жигули“, поставишь вот здесь под окном, посмотрим, какая такая девятая модель, тогда будем говорить о лесе». Один хотел меня взять на испуг, как это у них называется, рэкетёр. «Ты, — говорит, — не выпишешь леса, мы тебя пришьём и концы в воде утопим». Я ему говорю: «Вот видишь эти коряги? — Геннадий показал мне свои коряги, — я тебя этими корягами завяжу в узелок, пусть потом тебя развязывают». Его только и видели... Леса не осталось, рубить нечего. Хозяина нет. Никто не знает, за что работает. Никто путем и не работает, каждый тянет к себе, сколько может унести. Раньше была уверенность в будущем, твердая пенсия. А теперь — что? Пенсии грош цена... Все развалили — для чего? Кому это надо?»

Мы ехали по местности, хорошо мне когда-то знакомой; я не был здесь последние лет двадцать; местность стала другая. На левом берегу Паши в низовье вплоть до берегов Свирской губы и Ладоги простирались моховые болота, вкрапленные в них большие и маленькие озера-ламбушки. Обширные, как нынче говорят, капитальные загубские болота служили гидроресурсом для Ладоги, давали влажность прилегающим землям, лесным массивам, влияли на климат и на жизнеощущение болотных жителей. Здешние селенья: Свирицу, нашу кондовую Венецию, построили на воде; Загубе в межканалье, то есть между старым Петровским и новым¹ Ладожским каналами, на насыпи; Сторожно — в хвойной гриве на берегу Ладоги.

Природа заповедала это место для остановки на перепутье всех перелетных птиц — на передышку, кормление, весенние брачные игрища. Сюда опускались серые гуси — гуменники и казарки, снежноперые лебеди, звонкоголосые кроншнепы, пестрые кулички-туруханы, свистокрылые утки, юркие чирки, медлительные журавли, гомонящие чайки, шилохвостые крачки. По веснам все зыбалось, плескалось, плавало в мареве; воды земные сливались с небесами, все наполнялось птичьими кликами, брачными плясками, празднеством пера и пуха. По осеням болота осыпались рдяной клюквой, небеса оглашались прощальными зовами, переговорами улетающих птиц. Боже мой! Мы ехали по насыпной дороге, на все четыре стороны открывалась пустая ровная низменность — то ли пастбища, то ли покосы. Там, где было царствие жизни, торжество красоты, потаенное, сокрытое от глаз биение пульса природы, воцарилось ничто, распространилась глухая пустота. Приладожские, загубские, пашские болота осушили, предполагая превратить их в зланные луга. Но, судя по чахлой траве, по жалким стожкам там и сям, тучные луга из зыбучих болот не получились. Природное сокровище угробили — по чьей-то безграничной безмозглой воле. Сказка стала былью.

Это место еще называли «кировскими озерками», поскольку сюда приезжал охотиться Мироныч. Вслед за ним потянулись другие первые лица в вотчине, облеченные неограниченной властью, — до основанья все разрушить. Приехал Г. В. Романов, сунул в болота, в «кировские озерки», там мокро. Огляделся, распорядился: осушить! Построить мясокомплек! Осушили, построили Пашский животноводческий совхоз с гигантским комплексом — фабрикой мяса. Первому директору Пашского совхоза дали звезду Героя. Наверное, заслужил.

— Где мы едем? — спросил я Нечесанова.

— То самое место, где ты в мочежину провалился, задницу намочил. Здесь птичьи базары происходили — миллионы птиц слетались. Этому месту не было цены. А теперь видишь что... Все испакостили, никто против слова не вякнул. Ты все у вепсов...

По асфальтированной дороге туда и сюда катили машины. Езда за рулем требовала внимания. Оборотить время вспять, превратить пустыню в моховые болота с птичьими базарами — на то не было воли и мочи даже у Всеvyšнего.

— Григорий Васильевич приехал, — рассказывал Геннадий Нечесанов, — на гусей поохотиться, а гусь не шел, дождь зарядил со снегом. Он посидел в засидке, вышел разозленный. «Вы, — говорит, — все тут браконьеры, всех гусей извели». А у нашего егеря Мишки был гусь один убитый. Он его Романову подал, тот сунул в багажник, садится в машину. Я не выдержал, ему говорю (замечу от себя, охота первых лиц на «кировских озерках» не могла обойтись без Геннадия Нечесанова — первого охотника на Паше;

не в обиду другим будь сказано): «Григорий Васильевич, вот, посмотрите на мои руки, разве у браконьера могут быть такие руки? А первую добытую птицу,— я ему говорю,— у нас принято в общий котел. Из гуся похлебка добрая, наваристый бульон». Он заматерился и уехал.

Из этого и других рассказов Геннадия, если принять их за чистую монету, можно уразуметь, почему бывший директор сплавной конторы (окончил Лесотехническую академию, при отце-директоре прошел школу от вальщика леса, шофера лесовоза до начальника производственного отдела сплавной конторы) не удержался на плаву в партийно-командной системе с ее чиновничьим. А также и почему не нашел себе места при постепенном переходе к рынку. То есть место у него не пыльное: замдиректора леспромхоза, но парень мечется, трепыхается его душа.

Коля Птицын сказал мне, что я... изменился. Я ему то же сказал. Он принял нас с Геннадием в новом домике на берегу Куйвасари, тут же вскоре вливающейся в губу. Раньше на Куйвасари стоял дебаркадер, на котором во время охоты жили охотники, а летом мы с моим другом писателем Виктором Курочкиным писали свои сочинения: Курочкин из памяти-воображения, а я из того, что видел из окошка каюты. Дебаркадера не стало, сохранился на берегу старый дом охотбазы. В новом домике на стол подавала не старая, но и не молодая женщина, как выяснилось, новая жена Николая Птицына, питерская дачница... Его старая жена, загубская, померла. Новая жена Николая сказала, что Коля — сокровище, что у него детская добрая душа. Егерь Птицын воспринял похвалу в свой адрес как должное, не смутился, не возгордился. За столом сидела дочь новой Колиной жены, девушка на выданье, будущий врач, пока что медсестра в Свирицкой больнице, временно, на дачный сезон.

Выпили, закусили жареным лещом, полились речи; каждый гнул свою линию, как это бывает в застольях случайно сошедшихся людей, но линии сходились в одной точке: что было и что случилось со здешними болотами, озерами, птицей, рыбой, клюквой. Коля Птицын говорил, как плакал, дергался-трепыхался:

— Это же раньше весной посмотришь, как турухтаны токуют: у каждого своя одежда, перья, хвосты расщепят, так важно выхаживают друг перед дружкой, грудка в грудку сходятся, крыльями чертят — это же загляденье, умора! А нынче ни одного турухтана, ни одного зайца. Лису видел, дак она вся облезлая, хвост у нее как у крысы. Такое было богатство — и все прахом пошло! Как теперь говорят, коммунисты все извели...

Нечесанов возражал, что коммунисты были разные, но сосед не слушал соседа за нашим столом; каждому явилась будто крайняя нужда высказаться, особенно егерю Птицыну, видимо, натеревшему в застольных беседах, такая у него должность. В моей повести «День-деньской» он выведен как дитя природы: Ванюшка Птахин, бесхитростный, непосредственный, тише воды, ниже травы.

— Ко мне сюда, — баял Коля, — то шведов привезут, то японцев, то китайцев, то финнов. Зачем приезжают? Чего им надо? Я думаю, посмотреть, чем мы дышим. Пошпионить. Тут шведы приезжали, всю ночь водку пили, закуски разные у них тоже с собой привезены. Как светать стало, тот, кто их привез, мне говорит: «Сведи до ручья. Дальше ни шагу. Они ноги промочат — и веди обратно». А у их ружья с нарезными стволами, оптические прицелы. Умора! Ну ладно, идем. Они ружья приготовили, а в лесу — пусто, шаром покати. Сойка взлетела, они все ружья вскинули: «Какая, — спрашивают, — птица?» Я им говорю: «Сойка. Стрелять нельзя». До ручья дошли, а у их сапоги на толстых подошвах, а голенища низкие. Один в воду сунулся, зачерпнул. «Все, — говорю, — пошли обратно». Они и радехоньки. Сюда же пришли, водку допили. Они мне эти, доллары, дают. А мне — зачем? У их и так за это дело большие деньги уплочены. Я не взял. Тот, кто их привез, он-то взял. Зачем приезжали, не знаю. Может, им денег некуда девать.

Обратно ехали, я рулил, Геннадий делился со мною тем, что не укладывалось в его сознании, накипело в душе. Воспоминания об отце, преподанные им уроки жизни, собственный опыт не находили себе нынче приложения — в государстве, которого не стало, в производстве, которое разладилось, в лесных массивах на берегах Паши, которые вырубали, в родных болотах, которые можно пройти вдоль и поперек с сухой ногой. Память являла Геннадию как бы житийные сцены из утраченного мира.

— Я помню, бывало, сядут за стол у нас дома: мой отец, твой отец, Степа Волков —

спирт пьют, степенно разговаривают. По литру выпьют, еще поставят — и ни в одном глазу, беседуют...

Вот какие были богатыри, не мы... Правда, наши с Геннадием отцы едва перевалили за мой нынешний возраст, а рыбак Степа Волков, тоже здешний кряж, жил долго, в доме на Носке, то есть на мысу при впадении Ояты в Свирь. Царствие им небесное!

— По семнадцать часов отец с крана не слезал, лес отгружал, а потом еще в конторе... Для чего это надо было?

Вот и вопрос вопросов нашего текущего момента, со множеством знаков вопроса: для чего наши отцы так выкладывались (вкальвали, горбатились, пахали)? Какому божеству (или дьяволу) служили, не щадя живота своего? Кому это надо? Самый легкий ответ: их обманули. Очевидно, не без того. Но все же, все же...

Иногда я думаю (или читаю, слушаю то, что располагает к раздумью) вот о чем: если бы Россия в семнадцатом году не перевернулась вверх дном, сохранила бы себя на плаву как империя, пусть парламентская, вплыла бы в грядущий XXI век с огнями, музыкой, хоругвями, пушками, паюсной икрой и вязигой, за эту Россию и я плачу, что Бог ей не дал, большевики совратили и замордовали. Но я знаю, что в воображаемой, богоспасаемой, непотопляемой России, какой нет, не могло быть меня да и почти никого из ныне живущих. Не в этом дело, но как-то обидно. Революция в России совершилась, как свидетельствует вся классическая русская литература, из необоримой потребности всех слоев и сословий перемешаться: кто стал сложен, тому опроститься, согласно основному диалектическому закону природы: зерну стать ростком, мыслящему веществу тленом. В истории человечества не было другой такой сословной державы, как Российская империя; во Франции революция в известной степени уравнила имущественные права сословий; этого оказалось довольно. В России каждое сословие, в силу многоколенного отбора, накопления, обрело не только социальную, но и духовную особость, замкнутость, даже собственный язык: дворяне говорили по-французски, духовенство по-церковнославянски, крестьяне каждый на своем местном диалекте, пролетарии довольствовались матерком. Неравенство сословий — в правах, имуществе, развитии — привело к их социальной несовместимости в ковчеге державы; надлежало перемешать; закостеневшее, не поддающееся синтезу, уничтожить. Разин с Пугачевым предприняли такую попытку, но у них не вышло; Октябрьская революция послужила ретортой для сословного смещения, выведения новой породы — хомо советикус, то есть мы с вами, милостивые государи.

Как уже было сказано, в подспудной подготовке катаклизма в России замешана наша классика — нравственный путеводитель нации. Возьмем, к примеру, роман Льва Толстого «Воскресение»... Князь Нехлюдов не мог соединиться с Катюшей Масловой какими бы то ни было узами — не только с «падшей» Катюшей; в князе не было изначального духовного вещества любви к юной, чистой, милой Катюше, как равному себе существу. Князь не мог позволить себе опуститься до «романа» с Катюшей, ибо принадлежал к высшему, чем она, сословию. «Романы» разыгрываются в «Анне Карениной» — в пределах одного сословия, круга. Межсословный «роман» в России был невозможен; гений Льва Толстого провидел в личной драме общенациональный апокалиптический финал. За что В. И. Ленин обозвал Льва Толстого «зеркалом русской революции».

Как никто другой, В. И. Ленин уловил критический момент социальной несовместимости сословий в России, удобный для революции как адской машины смещения; в этом состояло главное; средства, потери, жертвы, отдаленные последствия не принимались в расчет; надлежало ввязаться в драку и затем дальше, дальше...

Аз есмь, как все мое поколение и последующие за нами, — итог смещения, великого перемещения всех и вся в моем Отечестве. Мой отец, выходец из многодетной крестьянской семьи (один из семерых братьев) деревни Рыкалово Новгородской губернии, с ее худо рожающей хлебушко почвой, едва ли мог рассчитывать стать «королем дров» в Питере. Господь Бог не соватал бы ему в жены мою маму, тоже сельскую девушку из другого уезда, из другого сословия; мама не выучилась бы в Питере на доктора. Павел Нечесанов, крестьянский сын из деревни Сомино, никак не мог возвыситься до почетного гражданина Отечества, Героя труда, не выучил бы сына Геннадия на инженера. Ближе к нам по возрасту сын дважды овдовевшей беднячки из села Сростки с Алтая Вася Шукшин не выбился бы в мировые художники слова и лицедейства... не случись в России Октябрьская революция с ее вселенской смесью. И так в миллионах случаев, судеб, семей. Кто был ничем, стал-таки всем. Миллионы же пали жертвой, стали «рабсилой», изгоями, «чурками с глазами». Процесс смещения разнородных элементов в ретор-

те революции, с улетучиванием и выпадением в осадок, продолжается по сей день.

Наши отцы так работали, так выкладывались, так себя не щадили, поскольку им выпал исторический случай ощутить себя государственными мужами («винтиками» — тоже хорошо!), послужить Отечеству прямым непосредственным образом. Не в этом ли высшее благо для человека, поднятого новым строем из низов, из социального ничтожества — на кран, на мостик «командира производства» или еще куда, все равно?!

Я знаю, что каждый из ветеранов войны почитает за самое счастливое время в собственной биографии — войну, с ее ужасом, кровью, грязью, окопами, непосильным трудом, страхом витающей над головой смерти. Каждое поле боя выводило воина один на один с собственной сущностью как сына Отечества: победить означало спасти самого себя и Отечество, жизнь отдать — за него же. Каждый ощущал собственную единственность, никем другим незаменимость; война возвышала рядового до ратника державы; без этого бы нам не победить. Ну, конечно, не все, не каждый так ощущали; я опять отвлекаюсь от чьей-то вины, предательств, низких целей, неискупимых потерь. Нынче многие любят бередить больные места, муссировать тему вины, взывать к отпущению, покаянию... Да, так вот... Я, кажется, сбился с мысли. К чему я веду? Единственная сущность, историческая реальность, человеческая наличность — это мы с вами, выжившие, живущие, итог Октябрьского эксперимента — смещения сословного, социального, этнического и т. д. и т. п.

В гражданскую войну «белые» воевали с «красными» «за веру, царя и Отечество»; испытали, по-видимому, то же самоощущение ратников державы; поражение пережили как гибель ее и утрату всего, что составляло их сословную гордость. Слава Богу, что мы нравственно созрели — снять с «белых» вину в чем бы то ни было, признать их равенство с нами как соплеменников, поклониться памяти наших собратьев. Убереги нас, Господь, и от греха уныния, самозаклания, деления по ярлыку на чистых и нечистых. Мы видим, как от нашей ненависти, подобно шагреновой коже в романе Бальзака, съезживается Отечество, отчего становится мучительно тесно душе.

Конечно, при советской власти тоже образовалось сословие — партийно-бюрократическая верхушка; Джила назвала ее «новым классом». Но тот же Джила, когда наша демократия обнаружила черты необольшевизма, предостерег нас от нового революционного ниспровержения, от схватки «низов» с «верхами», от очередного перемешивания наличного состава, потому что перемешивать нечего; ни одна страна, ни одна нация не может выдержать двух социальных взрывов на протяжении трех четвертей века. (Страны третьего мира нам не в пример.) Мы стали свидетелями того, как плавно рассосался наш «новый класс»: кто в синклит «демократических структур», кто в бизнес, кто в толпу на площадь, кто за черту прожиточного минимума. Не осталась пустой и скамья подсудимых. Всем сестрам по серьгам — итог нашей бесклассовости, бессословности.

Наши отцы так истово трудились, так спешили, так презирали личную выгоду, так верили в справедливость своей государственной миссии — пусть не впрок, ненаучно, себе же во вред — ради нас с вами, своих детей. Сами хлебнули нужды, «университетов не кончали», хотелось вывести детей в люди, «дать образование», выучить на инженеров (выбиться в «инженеры человеческих душ» — это уже наша собственная прихоть). И они преуспели. В этом суть дела, ответ на вопрос; вообще-то вопрос большевистский, но и такой задают: для чего вы жили? зря, не зря? что построили? ради чего?

Строили одно, а вышло другое, никак нашими отцами не предвиденное. Советское общество к семидесятым годам XX века — ну да, бесклассовое, бессословное, художественно образованные, со светлыми головами, великомучениками режима, диссидентами, западниками-демократами, русскими патриотами, Солженицыным... оказалось способным воспринять то, что называется... Не хочется употреблять приставку «пере», и так перепотребленную. То, что произошло и происходит у нас в России в преддверии XXI века, не могло произойти ни в одном государстве мира. Во всех государствах (Китай — особая статья), более или менее явно, сохранилось расслоение на сословия, стало быть, и страх потерять накопленное. Наши отцы (и деды) ничегошеньки не накопили, потратили все, что могли, зато избавили нас от страха — перед Господом Богом и перед дьяволом. Нам нечего терять, мы созрели для «пере». Мир праху наших отцов! Чего хочется пожелать потомкам, так это незлопамятного разума!

Понятно, что по возвращении с Куйвасари в Пашу мы с Геннадием поужинали у него дома. Вышли на волю покурить. Жизнь в поселке затихала, пахло землей, водой,

травой, листьями, деревьями, кустами. Хозяева соседних домов, как и мы, благодушествовали на воле. Вдруг Геннадий поднялся, вышел за ворота (псы звякнули цепями), пересек улицу; из дома напротив вышел встретить его человек. И я оказался невольным свидетелем сцены, то есть произнесенного Нечесановым ровным тоном без нажима монолога. (Помните, в начале сих пашских впечатлений я упомянул междоусобный конфликт на набережной улице? Извольте...)

В доме у самой воды напротив Нечесанова жил не только его сосед, но и сослуживец, чуть не директор, у которого Геннадий был заместителем.

— Я здесь живу пятьдесят три года,— сказал Геннадий соседу,— и до меня люди жили веками. И все знали, что ближе ста метров к реке дом строить нельзя. Это была водоохранная зона, естественное очистное сооружение. Все твои отходы земля усваивала, фильтровалась, не пропускала в реку твоего дерьма. А вы построили котледж у самой воды. Вы пиаете в реку, и ваши дети купаются в вашей моче. Бабы полощут белье... Вы думаете, что хорошо устроились, отхватили лакомый кусок. А вы же испоганили нашу реку. Река у нас одна на всех...

Сосед поперхнулся табачным дымом. Я отошел в сторону. Геннадий вернулся домой раздраженным, пошумел на зятьев, дочек, внучек. Теперь вы понимаете, почему у Геннадия Нечесанова такая угловатая линия жизни.

Я спал все на том же диване, что и при живом старшем Нечесанове, в горнице-столовой, под портретом Павла Александровича, фотографическим, увеличенным, отретушированным, подкрашенным. На портрете могучий мужик в темном костюме, в шляпе, при галстукe, со звездочкой Героя на лацкане, с крупным, грубо тесанным открытым лицом, с выражением силы, воли хозяина жизни и какой-то светящейся доверчивости. Чем сильны были наши отцы, так это верой. Большевицкий бог избавил их от рефлексии.

4

В моих дорожных картинах промелькнула фигура Г. В. Романова, который чуть не сел на место Брежнева, но Горбачев его перемог. Впрочем, у нас есть описатели придворных интриг (в последнее время их описывают сами участники — главные действующие лица); я удовольствуюсь своим собственным скромным опытом, расскажу о том, как воля всемогущего первого секретаря Ленинградского обкома сказала на судьбе рядового члена КПСС. То есть мое изложение примерно на ту же тему, что и поэма А. С. Пушкина «Медный всадник»: великий мира сего (в моем случае мнимо великий) и неразумный подданный. Хотя у меня совершенно иной финал.

Так вот... С Г. В. Романовым мне не привел Бог встретиться с глазу на глаз, однако я имел случаи видеть его живые с близкого расстояния. Во все застойные годы, после перевыборов в Союз писателей (и в других союзах), новые члены правления приглашались в Смольный в шахматный зал (столики стояли в том же порядке, как клетки на шахматной доске); первое лицо обращалось к тем, кому оказана честь, с напутственной речью. Будучи выбран и приглашен, я садился не спереди, не сзади, а посередке, наблюдал, сам оставаясь в тени, Г. В. Романова — небольшого росточка (повыше Сталина, в аккураг с Ильича), упитанного, розовошеого, с удлиненной, в форме цилиндра, всегда склоненной набок головой, будто сместился центр тяжести. Романов приводил цифры роста в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, валового дохода на душу населения, снижения цен, уменьшения преступности и еще всевозможных успехов — под водительством партии во главе с Леонидом Ильичом Брежневым. Выговорив то, что ему приготовили на бумаге, Романов обращался к незнакомым лицам (было два-три лица знакомых первому человеку, сидели в первом ряду, смотрели в рот говорящему, и он на них опирался): «Есть вопросы?» Предложение Романова задавать вопросы, самый его тон звучали двояко: задавать-то задавай, а не задашь — еще лучше, и так все ясно. Григорий Васильевич Романов не выносил неясности. Из всех подобных встреч с Романовым я запомнил два заданных ему вопроса. (Главным образом, задавались вопросы подобострастные, чтобы высунуться, быть замеченным. Например: «Григорий Васильевич, как Вас на все хватает? — такое огромное хозяйство — и все на Вас, и Вы еще находите время для откровенного разговора с писателями». Романов еще более склонял голову набок, разводил руками, изображал на своем совершенно неподвижном лице подобие улыбки: «Такая наша партийная работа»). Однажды самый отважный в Союзе писателей поднял руку: «Григорий Васильевич, сколько еще будет цензура вырезать лучшие места из наших

сочинений?» И далее в том же роде. Романов к такому вопросу не был подготовлен. Он поворотил свою непропорционально туловищу большую голову на тугом шейном шарнире в сторону тех, что сидели с ним рядом. Те произвольно поежились. «Цензура? — как бы неизвестное ему слово произнес Г. В. — Насколько мне известно, у нас цензуры нет. — Он опять посмотрел на своих сатрапов, те еще больше потупились. Романов собрался с мыслями, рассердился. — Цензура тоже нужна! Под партийным руководством. Если у вас возникнут какие-нибудь сложности с цензурой, обращайтесь к нам. Товарищи разберутся. — Сатрапы закивали. — А вообще-то, товарищи, у нас одно общее дело; партийной литературе цензура не страшна. Выступать против нашей линии мы никому не позволим!»

Сидящие в первом ряду первый, второй и третий секретари Союза захлопали в ладоши. Присутствующие их поддержали. Самый отважный, задавший вопрос о цензуре, опять проявил отважность: воздержался от аплодисментов, хотя Романов смотрел на него. Да, были люди в наше время...

Другой запомнившийся мне вопрос был такой... Его задал впервые выбранный в правление писатель-деревенщик, обросший бородой (по внутреннему распоряжению Романова бородатых, в джинсах, женщин в брюках в Смольный не пропускали, деревенщик об этом не знал), не спускавший голубоватых, с какой-то затаенной мыслью глаз с первого лица. Поднял руку. Романов сделал раздраженную отмашку: «Пожалуйста, вы!»

— Григорий Васильевич, — скрипучим, как тележное колесо, голосом спросил впервые избранный в правление деревенщик, — вот вы сказали, что растет поголовье молочного стада, свиней, курей... Это хорошо, — одобрил первое лицо скрипоголовый. — А вот скажите, почему не стало гусей? Куда делись гуси? Раньше в нашей деревне в каждом дворе держали гусей, а нынче ни одного...

— Гуси?! — Г. В. Романов как-то брезгливо содрогнулся, обвел взглядом знакомые ему лица. Знакомые лица запечатлели гнев и усмешку, еще не зная, как повернется: гневаться или смеяться. Романов решил отмахнуться от глупого вопроса, как от мухи: — Пожалуйста! Разводите гусей! Если надо, мы поможем.

Ну, хорошо.

Наиболее осязаемой для меня была руководящая длань Романова в то время, когда я работал главным редактором журнала «Аврора». Здесь надо оговориться: меня назначали главным в «Авроре» беспартийным — кажется, единственный случай в истории советской журналистики. Ну, разумеется, при условии моего вступления в ряды. Я принял это условие, хотя мне было 46 лет, я был шестидесятник, знал о партии все, что составляет нынче соль разоблачений. Сыпать соль на раны — сладостная утеха нераненых, но если долго сыпать, острота притупляется. Даже и соль становится дефицитом. Сенсация приносится на гребне общественной волны; нынче волна опала.

Я согласился стать членом КПСС при условии, что стану редактором журнала (условия ставились себе самому; внутри себя заключалось соглашение). Какой русский писатель не любит иметь свой журнал? У Пушкина «Современник», у Достоевского «Гражданин», у Твардовского «Новый мир»... Права советского редактора другие, чем были в золотой век, но все равно соблазн велик. Еще мудрец Бернард Шоу заметил: чтобы преодолеть соблазн, ему надо поддаться (чтобы познать пудинг, его надо съесть).

Нынче те, кому я отказал в напечатании в журнале «Аврора», не преминули выступить с заявлением: «Горьшин вступил в партию из карьеристских побуждений, чтобы его назначили редактором журнала». Под чем я могу подписаться.

Я вступил в партию, ничуть не веря, что партия — ум, честь и совесть (неверие надлежало держать в уме, постоянно наказывать языку не развязываться), но зная, что партия — наш рулевой. Кому не хочется постоять у руля, разве что самым асоциальным, сиволапым, как в стихотворении Ярослава Смелякова «Пращка»: «И того не знает дура, полоскающая бельё, что в России диктатура не чья-то, а ее». Мои старшие партийные, авторитетные для меня товарищи укоряли меня примерно в таких выражениях: «Ты же ничего не можешь, ты — ноль без палочки, без партбилета в кармане. Ты что, думаешь в кустах отсидеться? Я бы на твоём месте...» И так далее. Партийными были Федор Абрамов, Василий Шукшин, Виктор Конецкий — и ничего, хорошо писали.

Я стал партийным главным редактором. Принявшая меня на бюро первый секретарь Дзержинского района Ленинграда Галина Ивановна Барина, как именинница сия искренними партийными глазами, сказал: «Теперь вы, Глеб Александрович, молодой коммунист». Я подумал, что и умру... если не молодым, то средним коммунистом, старым большевиком так и не стану. Если бы мне тогда сказали, что через десять лет я добровольно выйду из партии, легче бы было войти, как говорится, со светом в конце туннеля.

Я вышел из партии, как выходят из бани на холод, с маленьким сожалением внутри об утраченном тепле, с чувством исполненного долга: попарился, теперь надо жить на холоду.

Я забегая вперед... Став партийным главным редактором, тотчас ощутил, что это совсем другое, нежели ошиваться в кустах беспартийным сочинителем. В мою жизнь вошел Г. В. Романов, как входит радикулит в поясицу и крестец (прошу прощения за использование радикулита как литературного образа; у кого что болит, тот о том и говорит): каждое резкое движение отдается прострелом — и лежишь на лопатках. «Аврора», как помнят люди семидесятых годов, вначале была крупноформатным, как «Юность» или «Костер», тонким (полутолстым) журналом. На каждой обложке оригинальный рисунок: горнолыжник со шлейфом розовой снежной пыли, мотогощик с солнечными дисками колес, велосипедист, едущий по земному шару, или еще что-нибудь, в экспрессивной манере, с элементом условности; реалисты-традиционалисты обложку не рисовали, да их и не было среди молодых; обложка отдавалась молодым для дебюта. И вот номер журнала сверстан, прочитан директивными инстанциями (я и не знал, что таковые есть: директивы директивных инстанций не подлежат обсуждению, исполняются беспрекословно), подписан в печать, вышел сигнальный номер — всегда надежда, радость, тревога, особенно для начинающего главного редактора; теперь отпечатать тираж — и вдруг заминка, пауза, будто свет отключили: тиражировать нельзя. Простаивают печатные машины в типографии, срывается график, в редакции паника: летит квартальная премия коллективу... В чем дело? За ответом в Смольный, в отдел культуры обкома. Там говорят: «Григорию Васильевичу не понравилась обложка». У Григория Васильевича на столе сигнальный номер «Авроры». Читать ему некогда и нет в том ни малейшей нужды: в обкоме есть читающие по должности, за зарплату. Ему не нравится картинка на обложке. Номер журнала с не понравившейся Г. В. обложкой в свет выйти не может. Обратиться к первому лицу по таким пустякам никто не решится. Наконец, по иерархической цепи от Г. В., через зав. отделом культуры, зав. сектором, инструктора, поступает с самого верха вопрос: что нарисовано? что хотели сказать этой картинкой? каков идейный смысл? почему журнал называется «Аврора», а на обложке нет крейсера? По той же цепочке наверх докладывается ответ: нарисован спортсмен в движении, в условной манере; картинка передает порыв молодости к преодолению препятствий; в жизнеутверждающем ярком колорите. Ответ не удовлетворяет главное лицо; через некоторое время спускается распоряжение Романова: «Обложку заменить!» Из графика выбились, подписчики не получили вовремя номер, премия плакала, у коллектива опустились рукава... Зато предотвращена идеологическая... ну, пусть не ошибка, — неясность. Скоро я усвоил, что чья бы то ни было точка зрения, отличная от высшей точки, заведомо отвергается.

Через номер история с обложкой повторилась. Что было делать? Нарисовали на обложке крейсер, отчего всем стало как-то мутно: в таком же оформлении выходили тогда популярные сигареты «Аврора», британские лезвия и многое другое. Тем более что журнал, так было задумано, восходил названием не к крейсеру, а к северной звезде.

Как-то я сложил наш полутолстый, большого формата журнал пополам, получился маленький, толстенький, карманный, при том же объеме... Обложку унифицировать, минимум рисования, чтобы красным цветом не разъярять быка. Редакция поддержала эту идею не как художественную находку, а как шанс войти в график. Однажды изумленный подписчик получил не привычный, красочно оформленный, просторный журнал «Аврора», а нечто похожее на блокнот агитатора. Поворчали, молодые художники высказывались, но сошло, привыкли.

И все равно редкий номер выходил без задержки. Инстанции требовали рабочей темы, партийной линии. Писатели писали не о том, журнал печатал не то, чего от него ждал Смольный. Впрочем, хозяев у журнала было несколько, каждый волен наложить лапу, высказать директивное мнение (инстанции полемических, дискуссионных мнений не высказывают). Горлит снял отрывок из чего-то А. Битова. Зав. отделом культуры обкома Пахомовой не понравилась повесть А. Кутерничко «Лиличка». Первый секретарь Дзержинского райкома Новожилова (Баринаова пошла выше, в обком) на парт-активе осудила публикацию повести А. Житинского «Сено-солома». ЦК ВЛКСМ возмутил рассказ В. Насущенко «Девушка с кошкой». В изрезанном виде вышла повесть В. Курочкина «Записки судьи Семена Бузыкина». Уже в конце моего главного редакторства в кабинете заведующего литературой ЦК КПСС, на Старой площади, хозяин кабинета Альберт Андреевич Беляев в моем присутствии вычеркивал абзацы статьи о Владимире Высоцком (Смольный статью снял, я обратился в ЦК), при этом матерился, как мужик у пивного ларька. Пользуясь случаем, я тоже вслух матерился.

Атмосфера сгущалась, назревало что-то зловещее, пора было рвать когти.

Однажды придя на работу, я нашел у себя на столе пакет с сургучной печатью, с грифом директивной инстанции. В пакете на бланке черным по белому предписывалось в назначенный срок переориентировать молодежный журнал «Аврора» в «журнал для подростков». Стал наводить справки, какие такие подростки? Никто толком не знал. Примерно с двенадцати до восемнадцати. Но в двенадцать читают одно, в восемнадцать другое. Как все уместить в малоформатном журнальчике? Да и читают ли? Кто для них пишет? Алексин? Но он, надо думать, заангажирован, хотя и писуч.

Опять, как в рассказе Аверченко: «все заверте...» Мне дали понять, что все находящееся в производстве, запланированное, договоры с авторами, сами авторы — не годятся... для подростков. Сам я редко печатался в моем журнале, а тут как раз совпало с переориентацией. Первому я дал прочесть мой рассказ моему заместителю Юре. Юра пришел в журнал до меня из горлита, матерым цензором (и по сию пору сидит). Я попросил Юру: «Юра, прочти как цензор, реши: пойдет, не пойдет; чтобы потом не было осложнений с горлитом. Они мне решительно не нужны». Юра прочел, преданно глядя в глаза, сказал: «Все нормально, Глебушка. Пойдет. Только сними вот это и вот это». Я снял, номер с моим рассказом сверстали, наступила пауза, в печать не подписывали. Позвонил в отдел культуры Барабаншикову. Барабаншиков разговаривал со мной из недосягаемого высока: «Ну, что вы, Глеб Александрович, ваш рассказ не поймут подростки». Номер пришлось переверстывать. Квартальная премия в очередной раз накрылась. Редакция волком глядела на главного. Я написал заявление под копируку — в инстанции: «Прошу освободить от занимаемой должности... По моей неспособности к переориентации...»

Ответа не последовало, по неофициальным каналам я узнал, что: «Григорий Васильевич сказал: пусть работает». Распорядиться собой я не мог, надо мной довлела партийная дисциплина. Освобождали от работы излишне преданных, рьяных. Так вышло с моим предшественником на посту главного Владимиром Торопыгиным. Ах, как Володя любил, как хотел, как умел быть главным редактором! И вот сидим мы в шахматном зале в Смольном, на одной из встреч с первым лицом, Володя в первом ряду... По обыкновению, с какой-то опаской вглядываясь в лица, Г. В. Романов остановил свои оловянные глаза на толстом лице Владимира Торопыгина. Подошел к нему вплотную, сказал: «Вы что-то поправились». Володя вскочил, как школьник, расплылся в улыбке, как отцу родному, признался партийному вождю: «Я, Григорий Васильевич, был на военных сборах, там так здорово кормят». Романов не улыбнулся. Володя Торопыгин не знал, что тем, чья участь решена: снять, исключить — Романов говорил: «Вы что-то поправились». Торопыгина сняли... за напечатание в «Авроре» стихотворения Н. Королевой якобы монархического содержания. Ну какой монархизм в то время? Тем более что стихотворение вышло в свет при тщательном рассмотрении... Снятие с поста так потрясло Володю, что он лишился воли к жизни, заболел раком и умер.

Не дорожащих местом, уклоняющихся, не соответствующих занимаемым должностям заставляли работать; в этом принцип, особенность партийной диктатуры: не соответствовать, так уж всем, чтобы не завелось «шибко умных».

Наконец я подхожу к финальной сцене моего служебного романа с пирамидой партийного руководства над ним. Приходит на ум крылатая фраза из классики: «Чему смеетесь? — Над собой смеетесь». Так вот... Есть писатель Виктор Голявкин, настолько непохожий на других писателей, что при самом слове «Голявкин» всплывает в памяти его, голявкинские, фразы, исполненные энтузиазма абсурда. «Трудно представить себе, что этот чудесный писатель жив. Не верится, что он ходит по улицам вместе с нами. Кажется, будто он умер. Ведь он написал столько книг!» Так начинается монолог-юмореска «Юбилейная речь». Кто бы мог предположить, что «Юбилейная речь» принесет Виктору Голявкину опасно-скандальную славу? Но все по порядку...

Виктор Голявкин давно находится как бы в нетях. Он есть, к нему можно приехать в гости, даже с ним выпить... Но... раньше всех нас Голявкина хватил инсульт, разбил паралич. Он сохранил в себе личность, но ушел внутрь себя. Кто знает, отчего талантливого писателя во цвете лет вдруг разбивает паралич? от умственного перенапряжения? от неправильного образа жизни? от каприза таланта? Или все тот же исполнительный Леший, курирующий талант, как его курировал в нашем городе Большой дом?

Иногда рассказы Голявкина, не принятые к печати в свое время (помню, на конференции молодых один ортодоксальный высказал такое предположение: «Если напечатать рассказы Голявкина, то начнется атомная война») или вновь сочиненные, приносила в редакцию жена Голявкина Людмила, за годы жизни с ним усвоившая его манеру мыс-

лить и говорить: талантливая личность влиятельна, если не в государстве, не в обществе, не в слое, то в близком кругу. Я почитал долгом и честью печатать в журнале Голявкина. Принесенную Людмилой, долго лежавшую в сундуке «Юбилейную речь» заверстал в № 12, 1981 года. Разумеется, я тогда не знал, что это будет последний подписанный мною как главным редактором номер. «Трудно представить себе, что этот чудесный писатель жив...» Далее сокрушенно-восторженный монолог лирического героя (может быть, это самирония?) и оптимизм по-голявкински в финале: «Но он безусловно умрет, как пить дать. Ему поставят огромный памятник, а его именем назовут ипподром — он так любил лошадей».

Номер шел своим чередом сквозь сциллы и харибды инстанций. В него пришлось заверстать присланный «тассовкой» портрет Л. И. Брежнева и цитату из его речи по случаю 75-летия «верного ленинца». (Примерно в то же время первый секретарь Союза писателей Г. Марков вручил генсеку писательский билет № 1; Брежнев стал первым писателем страны.) Портрет вождя поместили на первой странице юбилейного номера, «Юбилейную речь» Голявкина где-то посередке. Ни у кого и мысли не возникало, что эти двое, сойдясь под одной журнальной обложкой, вызовут чуть ли не мировой фурор.

Ну ладно, сверстали, пора отправлять в горлит. Ко мне в кабинет зашла ответственный секретарь Магда Иосифовна Алексеева (ее литературные задатки тогда еще не открылись, скажутся позже). Поговорили о текущих делах. Умная, пронизательная Магда (работала редактором «Ленинградского рабочего», смещена с поста Г. В.; принята в «Аврору» по моему настоянию, с высочайшего соизволения) как бы невзначай спросила: «Как ты думаешь, юбилейный Брежнев и «Юбилейная речь» Голявкина вместе — ничего?» Магда готова была переориентировать журнал для подростков, а я не готов. Магда знала, как поднимать рабочую тему, а я не знал. Мы посмотрели в глаза друг другу. Глаза, как известно, зеркало души, но у глаз есть еще и шторы — для сокрытия тайных дум. Если бы я держался за место, если бы знал, кто такие подростки, что им надо читать, кто для них пишет, если бы не подал в инстанции заявления с просьбой освободить... по собственному желанию... Если бы не моя сердечная привязанность к Голявкину, не моя тошнота от Брежнева... Я заверил ответственного секретаря, то есть взял на себя то, в чем она меня предостерегала: «Я ничего в этом не вижу. Пусть все будет, как есть». Магда сказала со значением, может быть, даже с угрозой или с печалью, как бы прощаясь со мной: «Ну, смотри...» И вышла.

Этот ставший впоследствии редкостью номер прошел без сучка и задоринки горлит и обком (какие все же там служили неизвращенные, чистые люди!). По выходе номера некоторое время все было тихо. И вдруг... поползли шепотки, а там и громко, на всю катушку: «На 75-й странице... „Юбилейная речь“ против Брежнева, в издевательском тоне... На первой странице портрет Брежнева, к 75-летию, а на 75-й... Второй залп „Авроры“ — по Брежневу!»... По «Голосу Америки» из Нью-Йорка Елена Клепикова, с которой я вместе просидел пять лет в отделе прозы «Авроры», я завом, она сотрудником, высказала предположение, что «Юбилейная речь» на 75-й странице — дело рук КГБ, акция по свержению Брежнева, на место которого метит Романов. Елена Клепикова (жена критика-осведомителя Вл. Соловьева; с ним и уехала в Штаты) не удержалась от того, чтобы сообщить мировой общественности: главные редакторы «Авроры» — Горышин и его предшественник Торопыгин — морально неустойчивы, много пьют, таскаются за бабами.

Ну, хорошо. Дальше — больше.

Приходил из Большого дома несекретный, штатный, курирующий нас молодой мужчина из ранних. Глядя прицеливающимся взглядом меткого стрелка, поставив брови домиком, спрашивал прямо: «Глеб Александрович, это вы поместили „Юбилейную речь“ на 75-й странице?» Что бы я ни ответил ему, он не имел права принять мой ответ за чистую монету. Не меня прицела взгляда, допрашивал: «Если не вы, то кто?» Вопрос — без ответа. Пусть сами ищут. «Голявкин написал „Юбилейную речь“ специально для этого номера?» Ну нет, ребята, Голявкина я вам не отдам. «Голявкин много лет парализован, вообще ничего не пишет. „Юбилейная речь“ — его старый рассказ».

Так мы ходили вокруг да около. Если бы «Юбилейную речь» на 76-ю страницу? Что было бы тогда? Ничего бы не было? Ах, как скучно!

По телефону звонили читатели, хотели пускания крови; кровь давно не пускали, все же Леонид Ильич был добрейшей души человек. Истеричные питерские женщины, может быть, старые большевички, комсомолки тридцатых годов, верещали в трубку: «Мне нужен такой-то». — «Я и есть такой-то, к вашим услугам». — «Как, вас еще не сняли?» — «Еще нет». — «Да как вы посмели? На кого подняли руку? Да как вас носит зем-

ля? Да таким, как вы, знаете, где место?» Я сдерживался, спрашивал, в чем дело. «Как это в чем дело? У вас на 75-й странице...» Я перебил: «На 75-й странице напечатана юмореска замечательного советского писателя Виктора Голявкина». — «Вас вместе с этим Голявкиным за такие дела...» — «У вас испорченный вкус, большое воображение; вам надо лечиться...» Мужчин я отвечал резко, грубо, по-мужски.

Вольнодумцы хихикали по углам, особливо в Москве, мне после рассказывали: собирались, вслух читали (надев на телефон меховую шапку), поздравляли друг друга: «Ах, как тонко, как метко, как дерзко — на 75-й странице!»

С мест сообщали, что изымают № 12 «Авроры» за 1981 год из киосков «Союзпечати», библиотек. Страх не было, только чувство ирреальности происходящего; надо всем возобладали энтузиазм абсурда, как в рассказах Голявкина. Голявкин писал человеческую комедию, его хватил удар... Одни утешали, успокаивали: «Все это не стоит выведенного яйца», другие злорадствовали, третьи распределяли между собою места, которые — как пить дать — освободятся, редактора наверняка уберут...

Долее всех отмалчивался обком. Наконец пригласили... на специально созданную комиссию по нашему вопросу — меня и ответственного секретаря. И вот сидим: я против заведующего агитпропом Коржова (впоследствии он стал секретарем обкома по идеологии, до пенсии — главным профсоюзным боссом; так было заведено); волосы у него росли в трех сантиметрах над бровями. Ну, что же, Иосиф Виссарионович просил гением тоже без просторного лба. Как показал исторический опыт, не в лбе счастье. Краем глаза вижу секретаря обкома комсомола Матвиенку, сексапильную деваху с негритянскими чувственными губами, малороссийскими пышными формами (Матвиенко будут часто показывать по телевизору во время первого съезда народных депутатов — уже демократку, главу комиссии по защите женщин, как бы символ женщины тогда еще не развалившегося Союза). Вижу Галину Семеновну Пахомову, зав. отделом культуры, тоже дамочку хоть куда — Романов подбирал кадры... в одном ключе. Отдел культуры в полном составе, еще какие-то лица — романовский идеологический синклит. Поодаль села Магда, ничуть не испуганная, не смущенная, на что-то решившаяся... На лицах членов комиссии странное выражение затаенной, прикушенной ухмылки: мы что-то такое знаем, чего не скажем; в происходящем есть второй смысл, чем кончится, тоже знаем. С постным выражением на лице Коржов выговаривает заранее приготовленные слова: «Областной комитет партии расценивает публикацию в „Авроре“ как политическую диверсию...» Ого, ничего себе формулировочка! Почему-то страха все нет и нет...

Однажды я ехал на машине, в предзвезде, в сумерках, по скользкому шоссе. Далеко впереди справа увидел чернеющий предмет, принял его за стоящую на обочине машину, не сбавил скорости. Еще дальше брезжил свет встречных фар. Предметом оказалась асфальтоукладывающий агрегат, наполовину перегоревший дорогу (предупреждающего знака не было); со стороны проезда в агрегате ковырялся мужик в ватнике. В оставшейся ужинё не было места раздаться двум машинам. Навстречу шел рейсовый «Икарус», врубил дальний свет: дай дорогу! Я нажал на тормоз, сцепления с дорогой не стало, меня понесло прямо в лоб «Икарусу», идущему на большой скорости. Я тоже включил дальний свет; кинжальные лучи, сталкиваясь, как будто искрили, дымили. Моя машина не слушалась руля. До гибели оставалось... Я видел водителя «Икаруса», странно неподвижного, будто окаменевшего; ему, как и мне, через мгновение предстояла гибель. И его пассажирам... Что я думал, чем жил, глядя в глаза неминуемой смерти? Не знаю, но страха не было, это точно, это точно, это точно... По-видимому, человек не может испытать страх смерти как вступившего в силу факта, потому что никто не знает, что такое смерть, что значит перейти в смерть из жизни. Никто не вернулся оттуда... Колеса, вдруг взяв грунт, машина послушалась руля, я вывернул из-под самого носа «Икаруса», когда мы с его водителем видели друг друга во встречном дальнем пронизывающем свете, как на экране рентгена.

Ехал по инерции до тех пор, пока позади все замазала чернота вечера. Что случилось с мужиком — машинистом асфальтоукладчика, не выставившим предупредительный знак на дороге? Скорее всего, ничего. Ему, как и мне, повезло.

Знаю, что каждый водило, прочтя эту историю, скажет про меня: «Ну и дурак. Надо было тормозить двигателем, работать скоростями». Я и сам знаю, что — дурак, я был тогда неопытный водило. Я был неопытный главный редактор, молодой партиец... Политическая обстановка не дала мне набраться опыта. (За рулем я нынче езжу гораздо осмотрительнее, однако не надо зарекаться... от сумы и от тюрьмы...)

В тот раз рядом со мною в машине сидел мой друг Володя Торопыгин — опытный, прирожденный главный редактор (много лет редактировал журнал «Костер», без малей-

шей зазубринки, пожиная успехи и лавры). Он что-то начал говорить по ту сторону нашего вхождения в погибель, договорил по эту сторону, не понял толком, где мы побывали. Я сказал ему (точно помню, так и сказал): «Помереть вне очереди не дадут. Еще не подошла наша очередь». Володя вскоре помер, а я вот сижу на суде, мне инкриминируют «политическую диверсию», за что полагается...

Мне дали слово, я говорил как-то рассеянно, инстинктивно чувствуя, что слова не нужны, все заранее предreshено. «Как главный редактор готов за все понести ответственность... За что, не очень понимаю. Посчитать политической диверсией юмореску Голявкина, написанную несколько лет тому назад, не могу. Связи юморески с юбилеем Брежнева не улавливаю. И потом: горлит не заметил, обком не заметил — номер вышел в свет; все после придумали...» Членом комиссии стало скучно. Магда тоже что-то вякала, ее и слушать не стали. Нас пригласили не для обсуждения-выяснения, а для доведения до нас принятого решения: главного редактора освободить по собственному желанию, согласно поданному им заявлению, ответственного секретаря тоже освободить, с какой-то другой формулировкой — с Магдой обошлись покруче, чем со мной, но, в общем, тоже мягко, даже без партийного взыскания. Дивны дела твои, Господи!

После мне доложили: «На тебя такое дело раскручивали — у! дай боже! И Москва требовала расправы на всю катушку. Григорий Васильевич сказал: «Горышина — не трогать». Мотивы того или другого решения Г. В. никогда не обсуждались; так решил — и basta. Можно предположить, что Романов, недавно отправив на тот свет одного редактора «Авроры» — Торопыгина, притормозил заклание другого, пусть без летального исхода. Только это маловероятно, свежо предание, но верится с трудом. Скорее всего, Романов не хотел огласки, публичного скандала в связи с Брежневым, которого предполагал заместить на посту Генсека в ходе кремлевской интриги. А может быть... Да нет, едва ли...

Легенду о 75-й странице кто-то кому-то подшепнул, а публика подхватила, настолько публике омерзела мертвая зыбь брежневщины, так хотелось хоть какого-нибудь колыхания, «второго залпа „Авроры“». Легенда оказалась недолговечной — не по правилам разыгранной, без крови в финале. Помню, сразу после комиссии в Смольном позвонила теща, спросила у дочери: «Где Глеб?» Дочь ей ответила, что Глеб сидит в кабинете, работает. Из услышанного теща уловила только одно слово «сидит». С замиранием спросила: «Сколько дали?» Вот это был бы финал.

Нынче летом на Невском я встретил Магду (М. И. Алексеева автор двух книг прозы, член СП, хозяйка приватного еженедельника); жизнекипящая Магда сказала: «А все-таки хорошо, что тогда так вышло в „Авроре“». Хорошо, что хорошо кончается.

Как-то я возвращался из Москвы в Ленинград, вышел в тамбур покурить, разговорился с курящими пассажирами (при слове «курящий» вспомнил слово «курирующий»; кто-нибудь кого-нибудь «курирует» и в сей день, в сей час; без этого невозможно)... Слово за слово, выяснили, кто есть кто. «Как, вы — Горышин? — изумились курящие пассажиры. — Тот самый, что напечатал «Юбилейную речь» на 75-й странице? Мы думали, что вас посадили. А Голявкина посадили?» Пришлось и их разочаровать. Но все равно в ту ночь я оказался в ауре народного героя, пусть задним числом. Мы не расстались и, сойдя на перрон в нашем городе, куда-то поехали, чего-то выпили. Но всему приходит конец, особо скоропреходяща сладкая отрава славы.

Ну вот. Все вернулось на круги своя. Беспартийный сочинитель, я ошиваюсь в кустах, у нас в деревне, в Нюрговичах. Надолго ли это благо? А вот увидим...

5

Деревня Субоченицы на берегу Ояти. Вода в реке цвета одинарного кофе. Река тороплива, свежа.

На берегу Ояти Виктор Николаевич Миронов (помните, в середине моего странствия, затянувшегося на десять лет, по дальней дороге, вкругался, я уже завернул однажды к Миронову, он тогда был директором совхоза «Алеховщина», ныне пенсионер; примерно то же время сделало и со мною) строит дом, вдвоем с зятем. Дом нарощен под кровлю. На сегодня урок: приколотить к стропилам лес. Затем покрыть рубероидом — под шифер.

Над рекой стонали два коршуна. По реке нынче не поднимался ладожский лосось. Пока был сплав леса, лосось ловился, сам шел в руки ловцов. Сплав леса уберегал реки от заливания (привожу версию Миронова, не настаиваю на ее единственности). Может быть, лососю было повадно идти встречь молевому сплаву. Сшибались две силы: леса

и рыба жес верхом. рыба низом. Сплава не стало, лосось не идет своим родовым путем. **Может быть, не стало** в Ладоге лосося? — там свои причины не стать. Вопрос о связи **Лососевого** хода с молевым сплавом не изучен. Лосось в Ояти летом 1991 года не ловится. **Мировов** строит дом у самой реки. Бог ему в помощь. Видеть строящийся дом, посаженное дерево, правильно выращенного человека — отрадно, если и не твоих рук дело. Мировов сказал, что в прошлом году два мужика — один местный, другой из Ленинграда — утром поймали на спиннинг один двух, другой четырех лососей. Вон там на берегу стали и поймали. А сей год ничего. Правда, вода высокая.

Геннадий Нечесанов не сомневается в том, что молевой сплав по Паше (Капше, Генуе, Сарке) способствовал ходу лосося.

— Когда сплав был, в шестидесятые годы, лосось шел на нерест — вот эдакие чурки, на перекатах их острой колодой, палками били. Бывало, едешь, бабки с ними волохаются, позовут: «Помоги, кормилец! Нам с имя не справиться, такие большущие». По пуду попадали лосося. Мы же реки очищали, плотинами регулировали. Лосось без помех поднимался в свои нерестовые места. Придут на место, самка хвостом яму выкопает на мелководье, икру выметет, самец ее молами оплодотворит, все зароят и уходят. А мужики уже знали, где икра. Ямку вскроют, икру всю выгребут и засолят. Сплава не стало, и лосось не идет.

Нам доподлинно неизвестно, как влияет сплав леса на ход рыбы, но мы точно знаем, что мужик раскапывает ямку, выгребет икру, если даже будет знать, что ямка последняя. Вот в чем неразрешимая антиномия.

Ночевал у Текляшовых, Ивана и Маленькой Маши. Похлебали топленого молока с пенкой, напились чаю, накурились сигаретами «Рейс» — по колбасному талону. Улеглись: я на привычный уютный диван, у хозяина отдельная постель, Маша на большую супружескую. Еще хотелось поговорить, так мы научились слушать-понимать друг друга. Маша:

— Эти-то, что на вертолете прилетевши... «Мы вам, говорят, не знаю чего исделаем. Завод построим-им, животину на колбасу переводить». Ишо с ими был приехаччи не знаю откуда, из журнала, что ли, или от Арона («Из журнала „Аврора“», — поправил Иван). Не зна-аю, такой высоко-ой, как Глеб Алекса-андрович, головой туды-суды верти-ит, как дя-ател. «Мы вам, говорит, завод построим пиво варить». Наши бабки: нет и нет, ни в каку-ую. «И колбасы-ы вашей не надо-о, без пива жф-или и не прихоту-уем. Мы вон лучше в лес за волнухам. Не-е, не согласны».

Иван перевернулся так прытко, что вякнула постель:

— Об чем не понимаешь, и не суйся. У их программа все довести до ума, а наши чухари, как ведьмеди в берлоге, — лапу сосать...

Маша пискнула:

— Ой уж прям ведьме-еди... И нас там поумень были, тоже им от ворот поворот. Соболь Михаил Михайлович им говорит: земля совхозная, нет и не-ет. Дядя Федя (так Маленькая Маша зовет Федора Ивановича Торьякова) тоже выступи-ил: «Раньше, — говори-ит, — вкальвали, как волки-и, в лес и жили-и, а ночью только воду мутя-ат. Они все оберу-ут, и лес и рыбу-у, а нам и в вот не су-уйся, останется х...»

Маша сказала русское слово из трех букв легко, как выплонула. Вообще, иноязычные произносят наши матерные слова бездумно, не вникая в смысл (вспомним, что родной язык Марьи с Иваном вепсский).

Вот видите, даже в такой глубинке, глуши, в патриархальной семье, где жена не знает, что такое эмансипация, не сбита с толку общественно-активной ролью, не читывала журналов «Слово», «Наш современник», «Москва», даже и там хранительница очага придерживается консервативно-укладных взглядов, в то время как муж — прогрессист, доморощенный демократ. (Радио в доме Текляшовых играет, телевизор показывает.) Эдва ли семья сторожа рыбных прудов Ивана и перевозчицы Марьи в Усть-Капше может распасться по несовпадению политических симпатий жены и мужа, слишком многое связывает Ивана с Марьей: дом, корова, огород... В городе бы запросто распалась... Правда, городские женщины все больше демократки, мужчины умереннее, консервативнее жен. Но бывают и городские жены — почвенницы, русофилки. Что одинаково взрывоопасно.

На сон грядущий Иван рассказал, что у него в ямах форели и осетры настолько

оголодали, что сквозь сетку добираются до раков и поедают вместе с панцирями. Раки тоже позеленели от голодухи.

Я уже стал задремывать, но все же дослушал, как говорит Невзоров в «600 секундах», «криминальную хронику» — села Корбеничи. Пожар был один, погорельцы с детьми ютятся в общежитии бывшего рыбохозяйства. На новый дом погорельцам собирали средства (и я вносил); на собранное дом не построишь, надежда только на Соболя.

Два мужика хорошо поддали: по талонам взяли водку, добрали брагой. Собака одного из мужиков обидела ребенка другого (или другому так показалось). Отец обиженого ударил собаку палкой. Хозяин собаки сходил домой за ножом, нанес товарищу (который тем временем уснул) шесть ножевых ранений. До смерти не убил, будучи ослаблен алкоголем. Пострадавшего увезли на «скорой помощи», зашили, он оклемался. В суд на сабутыльника не подал. Их видели опять вместе поддатыми... «Хорошим это не кончится», — заключил Иван.

Засыпая, я подумал, как избежать нехорошего. Ответа не нашел.

6

«Я — Леший. Сам не пишу, а вожу рукою моего подопечного Старца. Молодого я звал его Мальчиком, он долго был Мальчиком, пришло ему время стать Старцем. Стать или не стать — я-то знаю, а он еще сомневается. Сколько уж лет внедряюсь в него, подстрекаю. На то я и Леший — поводить, закружить, ножку подставить, чтобы грянулся оземь, приобщился к главному цвету мира — черному: ночь черна и земля черна. И наши дела черные, хотя бывают оттенки.

Я — сельский Леший, лесной, водяной, болотный. Но у нас, у Леших, прямая бесперебойная связь, как у органов в организме; нас множество, и мы одно существо; каждый из нас может персонифицироваться в зверя, собаку, корягу, кота, ворону, небесное тело и в человеческую личину. Леший может явиться своему клиенту в человеческом образе, чаще всего в женском. Наше, Леших, призвание — соблазнять. В женщину еще змеем (змей — наш прародитель) вложено зерно соблазна. Женщины по своей психической и плотской конституции наиболее исполнительны; это наш контингент.

Поймите меня правильно: мы никого не вербуем, мы владем той частью человечества, в которой ослабела воля Божья. Впрочем, в каждой Божьей твари есть различные полюсы, добро уживается со злом, об этом писали еще Франциск Ассизский, Федор Достоевский, Александр Солженицын. Должен заметить, что эти авторы, множество других трактуют зло как дьявольщину и бесовство; мало кому удалось проникнуть в нашу природу Леших, разве что книга Бориса Сергуненкова «Леший», да и та не вышла в свет по нехватке бумаги, то есть из-за дьявольщины и бесовства. Здесь бесы преуспели: в стране, где почти весь лес мира, не хватило бумаги даже на книгу «Леший»...

Это так, к слову; вообще, критиканство не моя стихия, равно и политика, экономика. (Понятно, что и во всем этом я как рыба в воде.) Ловлю в сеть доверчивую душу, плету узор мелких пакостей, отворяю дверь из света в тень. Из тени на свет выводят стадо и отбившегося от стада заблудшего Ангелы-хранители, наши извечные сменщики-напарники. Леший — режиссер повседневных неприятностей, несмертельных okazji, продюсер гадких снов.

Помните, в одной из тетрадей Старец приводит приснившийся ему сон ужасов? Это моя разработка сюжета и эпизодов. Обыкновенно летом в деревне Старец впадает в экзальтацию: ах, какое озеро! какое небо! какая жука! какие птички! Ах, как я нравлюсь себе, физически опрятный, нравственно чистый! Тогда я насылаю на него жуткий сон с подспудной укоризной, мрачным прогнозом, ну и, конечно, с женской плотью — соблазном, — чтобы не забывался, напомнить, кто ты есть, грешная тварь...

Да, так вот. Я не договорил о женщинах... У мужиков проще: одни на виду, другие без виду. Кто дурак, кто умный, разобратся трудно. Иной дурак дюжину умных одурачит, чтобы быть на виду. Мы дуракам помогаем, пусть дурачат, получается театр абсурда, наша драматургия.

Какой-нибудь лаборантик из захолустья с комплексом неполноценности вдруг выдвигает совершенно дурацкую программу скорого благоденствия для всех. И — прямоком в дамки, в народные депутаты, предлагает себя на пост президента, хоть куда; у него сторонники, у него рейтинг. Был мужик совсем никудышный, а оказался на виду. Сидит, мучается, что бы такое выкинуть, чтобы не унырнуть обратно на дно. Умишка-то нет, вот мы ему и подсказываем: поди туда, не знаю куда, сделай то, не знаю что...

Женщины делятся на красивых и некрасивых. Красивые соблазняют, тут нам только

раскручивай интригу. И они ненасытны: за красоту им подай все блага, всех мужиков мира. Красавицы живут под вечным страхом продешевить; после климакса становятся индуистками, вегетарианками. Некрасивые мстят: ушедшему возлюбленному, бросившему мужу, всем не заметившим их достоинств, не оценившим душевную тонкость, верность и все прочее. Мстят же некрасивые женщины беспощадны, им бы только разрушить, а мы подстрекаем. Да вот, посмотрите телевизор, обратите внимание на рот говорящей с экрана политизированной дурнушки: ротик рыбий, уголки рта опущены, уста отверзаются для изречения неискупимой женской обиды на всех и вся. Я как-то смотрел у Текляшовых, Ивана с Маленькой Машей, ближе негде смотреть; тошно стало, толкнул их собаку Риту под машину — единственную на краю деревни собаку под единственную за день машину... Женщина обращается к миллионам, но, можете не сомневаться, она говорит своему бывшему мужу: вот видишь, ты ушел от меня, а я вон где, я вам еще устрою.

Говорят, что Октябрьская революция подорвала устои. Не без того, но мы-то знаем, что устои подорвала эмансипация, выведенная из-под власти мужика баба. В этом — отдаленный, никак не учтенный, фатальный итог катаклизма. Большевики впрягли бабу в общее тягло, избавили от главного, что ей назначено Создателем, — быть нестроптивной хранительницей очага. На Западе то же, только не так заметно.

Человечество делится не на белых и красных (черных, желтых), бедных и богатых, не на демократов и партократов, а на мужчин и женщин. Революция, снизу или сверху, разрушает не систему, а первичную ячейку — семью. Систему можно перелицевать или шить заново, как костюм по моде, но если в семье политическое несогласие у мужа с женой, пиши пропало. Человеческий род можно извести водородной бомбой, одним нажатием кнопки. Но вас, дураков, хомо сапиенс, как вы себя называете, постепенно уменьшится численность до мизера и без бомбы, если эмансипированная женщина не захочет рожать. Мне вроде по штату не положено ссылаться на Библию, но за годы, что я курирую Старца, тоже стал книгочеем, как он. Позволю себе цитату, ради красоты слова, из Первой Книги Моисеевой Бытие: «Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рожать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой». Не будет господствовать — и потомство истощится. Разрушится та ямка, в которую рыба выметывает икру. Вскрыть последнюю ямку, — и вид исчезнет.

Эмансипированная женщина (красавиц эмансипирует сама красота — и закабаляет) не выносит авторитета, какой бы то ни было мужской власти над собой. Свергают кумира, чтобы тотчас возвести нового и опять свалить, и этому нет предела.

Только прошу не принимать мой докторальный тон за чистую монету; я не публицист, не политолог, не феминолог (не знаю, есть ли наука феминология, за всем не уследить), я — Леший, у меня своя точка. Я касаюсь женского вопроса (феминология), поскольку могу его рассматривать со стороны; Леший все же мужчина. Рассматривать изнутри — фи, как скучно, как феминистическое движение или роман Набокова «Лолита» — о половой связи без полов. Кто иногда касается главного в женском вопросе, так это Хемингуэй. Бывает, я перечитываю рассказ «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера», там сказано почти все, хотя в финале есть недоговоренность: женщина, мемсаиб, Марго стреляет в голову буйвола, напавшего на ее мужа Фрэнсиса Макомбера, но попадает в голову мужа. Во что метила мемсаиб? Хемингуэй недоговаривает, но в фабуле рассказа прослеживается фазы рокового противостояния мужа и внутренне эмансипированной от него жены. Фрэнсис Макомбер струсил перед раненым львом; Марго презирает его, ощущает свободу от каких бы то ни было правил, ночью уходит в постель к наемному охотнику-поводырю. Она не уйдет от мужа, у мужа сила денег, но она пересилит его презрением, удержит при себе своей красотой. Однако охота продолжается, Фрэнсис азартно перемогает пережитый позор, обретает в себе мужчину, не только в отношении к львам и буйволам, но и во внезапно, по-видимому, зафиксированном в сознании нравственном возвышении над женой. Марго тотчас улавливает эту, никак не устраивающую ее, перемену в супружеской субординации. И — выстрел в финале...

Но вернемся к нашим баранам. Вспомним, что Старец доверил мне написать за него, куда сам ждет Гостя, волнуется, на что-то надеется. Ах, Старец, если бы ты знал...

Рано утром сел в лодку, до мыса доплыл, а я уж там на мысу, дунул ему в мордотык. Он: «Ах, мать-перемать, шелоник — на море разбойник...» Попурхался, а против ветра к автобусу не успеть, Гостя встретить. Да и ослабел Старец на рыбках-грибках-ягодках. Подхватился посуху идти в Харагеничи, лодку в куст засунул, весло в другой куст.

Побежал по тропе сам не свой, как заяц весенний. Уже деревня ему видна, Харагинская гора с автобусной остановкой, тут я тучу из-за горы выдул, дождем его до нитки промочил. На гору он взошел, на ветру дрожит как осиновый лист, переживает. Мне-то слышно, что он про себя думает: «Лучше бы плавал по озеру, рыбачил, в лес сбегал, пережил бы день жизни наедине с собою, писал мои вирши. Леший меня попутал Гостя звать, ноги ломать, на дожде мокнуть. Да вдруг не придет? И хорошо бы...» Эмоциональная натура: а хочется, и колется.

Автобус пришел, Гостя нет. Я-то знал, а он предался самоанализу: «Значит, я какой-то не такой, чего-то во мне не хватает, никому я не нужен, надо мне быть одному». И так далее. Я тучи расшуровал, дождя еще наддал. Деться ему некуда, только к бабушкам Богдановым: бабе Кате — сто пять лет, а ее дочери бабе Дусе — восемьдесят. Старушки Богдановы тоже Ангелы, не из небесной рати, а земные, местные, харагеничские. К старушкам Богдановым у меня особое отношение; такие они безответные, что и пошлать с ними у Лешего не поднимется рука. С бабы Кати сыном, бабы Дуси братом Василием игрывал, он из богдановской избы родом, но Питером провонявший. Сей год Василий померши, как говорят вепсы.

Старец к бабушкам пришел, его встретили как родного, баба Катя с постели ноги спустила, вдела их в лакированные туфли на полуввысоких каблуках, после войны купленные, вступила в общую беседу; скажет, помолчит.

— Вася померши, — сказала баба Катя. Помолчала. — С рыбалки пришоццы, сел, говорит: «Света не вижу. Такого до си не бывало». Я говорю ему: «Ты ляжь, и пройдет». Он лег, больше ниче не сказал и помер.

Старушки дали Старцу супу из пакета, яичко, огурец с грядки, бутылку водки, а больше у них нечего дать. Старец заплакался: «Гостя встречал, а Гость не приехал». Баба Дуся и тут нашла, чем обнадежить мужику — чужого и своего в одной на всех беде: помучиться на этом свете, а и суметь порадоваться, надышать душевного тепла. «Ты, говорит, поди к восьмичасовому автобусу и встретишь своего Гостя. Днем-то у их там в Шугозере с одного автобуса на другой не угодишь, с ленинградского на наш. (Это моих рук дело — не угодить.) А пока что ложись вон в постелю, отдыхай, а то на тебе и лица нет, умаялся».

Вечером Гость приехал, в длинной юбке, с неподъемными сумками в руках. Я пристроился на моем наблюдательном пункте, руковожу встречей. Вообще, ничто человеческое мне не свойственно, то есть все ваше я воспринимаю с обратным знаком: змея человека клюнет — хорошо, записываю себе в актив; влюбленных поссорю — отлично. Вот и здесь на горé... Старец: «Я же тебе говорил, надень брюки». Гость: «Ты мне не говорил». Старец: «Я же тебе говорил, возьми заплечный мешок». Гость: «Ты мне не говорил. И мешка у меня нет». Старец: «У тебя есть резиновые сапоги? Я тебе говорил, что без резиновых сапог в наших лесах не ходят». Гость: «У меня есть босоножки».

Городские интеллигентные женщины не слушают чьих-либо советов. Они готовы на самопожертвование, легко выдумывают себе героя, чтобы послужить, особенно стареющие, воспитанные на русской литературе, смолоду зачарованные примером графинь Волконской и Трубетцкой. Но упаси Боже героя вступить с предавшейшей ему интеллигентной дамой в спор, даже по пустяшному поводу, например: сам русский народ устроил себе такую судьбу, завел себя в котлован или жидомасоны попутали, — на каждый довод героя дама приведет три контрдовода. Выйти из спора с дамой можно двояким образом: обложить ее матом или заключить в объятия. Из спора в объятия дама переходит к энтузиазму, как влюбленная и победившая в споре; из объятий может тотчас вернуться к спору, на недоспоренном месте. Недолговременность, неэффективность объятий интеллигентная дама легко прощает герою, поскольку слабость мужчины дает ей дополнительный шанс на руководящую роль; в споре дама непобедима.

Ну, ладно. Старец с Гостем спускаются с Харагинской горы по размытой дождем глине. Гость: «Я только сейчас понял, что-то действительно у черта на куличках. Я думала, что-нибудь типа Луги или Рошино». Старец: «Я же тебе показывал по карте, говорил, сколько ехать». Гость: «Я что-то не помню. Ты кому-нибудь другому говорил».

У Богдановых переобули Гостя в бабы Дусины резиновые полусапожки. Привезенные Гостем гостинцы сложили в мешок Старца, поспорили: «Дай, это я понесу». — «Нет, я». Пошли, а дело к ночи. Я обрушил на них всю силу вепсского «дождя», с пронизывающим северо-восточным ветром, с непроглядной тьмою — не видно ни зги. По тропе из Харагеничей на Озеро сей год мало хаживали, тропа чуть заметна, шагнешь с нее — и поминай как звали: на все стороны тайга, ветровалы, урманы, трясины; тропа — наша, Лешева. Раз, помню, по ней шел сын полковника с Берега, с ирландским сеттером,

а у меня как раз была на подхвате медведица с двумя медвежатами, мой кадр... Я ей наказал: «Пугни дурня с собакой, напомни, кто здесь Хозяин, а то совсем распустились». Медведица из малинника высунулась, медвежата выкатились на тропу... Сеттерок хвост поджал, не помня себя припустил, весь ельник обдрисстал. Молодой человек на березу пулей взлетел. Насилу слез наземь.

Тропа ночью вдвое длинней, чем днем, да еще Харагинское болото зыбается, сапоги бабы Дуси с ног Гостя сдергивает. Сели бы перекурить, а спички у Гостя из города не взяты, у Старца кончились — моя мелкая пакость. Ближе к Озеру, когда у бедолаг явилась надежда дойти, водой запахло, тут-то я их окончательно закружил, заволохал в непроходимой чапуге, в падах. Старец из последних силенок выбился, Гость в мокром подоле путается, чуть не плачет — и костра нечем разжечь. Не то чтобы я пожалел, нет... Задумано у меня было на эту ночь еще порядочно темных делишек. Надоумил Старца, куда идти, как вернуть пошатнувшуюся было веру в него дамы сердца. У самого Озера не удержался, поиграл: «В каком кусту лодка, в каком весло?» — и отключился.

На небе тотчас светила стали на свои места, как должно быть в теплую августовскую ночь у нас на Веповщине. Заструилась, запереливалась лунными бликами вода под лодкой. «Господи,— вздохнул Гость,— ради такой минуты стоит жизнь прожить». Старец вошел в роль кормчего в любовной лодке, рассиропился. В избе затопил печь. Гость изливал ей на одичалую в пустыничестве душу моего подопечного: «Ах, какое чудо! какая изба! как играет огонь! как греет! неужели это возможно?! это правда? это не сон?»

Ну все, хватит. «Я вступаю в должность...» Откуда цитата, вспомнили? Так скажет чуть позже вице-президент Янаев. Не буду хвастать, не моих рук дело, там действовали вельзевулы повыше рангом. Как нынче многие говорят, я бы действовал иначе. Я, Леший,— хозяин мрака, могу омрачить округу, момент бытия или чью-нибудь отдельно взятую душу.

И я знаю наперед, что из чего получится. Иногда подсказываю прорицателям, сбывается один к двести, им этого хватает. Обманутых поощряю: пусть несут мою кривду в массы, распространяют слухи, «кто есть ху».

Для начала отбил у Старца аппетит ко всей снеди, привезенной Гостем, даже к водке. Старец так измучился за день, переволновался, что в нем прорезались хвори, отшибло вкус к еде и питью. Испеченный ему пирог с яблоками — с любовью, от души, как яичко к Христову дню,— вынесли на холод в сени. Я свистнул здешнюю одичавшую (моя цель: чтобы все одичали) собаку; утром пирога как не бывало. Но до утра еще порядочно ночи. Сидят у стола двое одиноких людей, нуждающихся друг в друге; стол — полная чаша; в избе уютно, тепло. Но... поздно, поздно, все миновало, у каждого из двоих за плечами изжитая жизнь; их жизни врозь миновали. Сошлись на мгновение, чтобы опять разминуться, кануть во мрак; мрак у меня приготовлен. Ночь непроглядна, изба чужая, с накопленным по углам, закутам чужим непробудным горем. Двое молчат, ибо каждое изреченное слово заведомо ложно — перед угрюмым молчанием моего Лешева царства.

Гость сидит у чела печи с тлеющими на поду угольями, курит. Старец лежит кверху носом на полатах, на нынешнем свежем сене, мается хворью. Гость думает (привожу ход мысли в спрямленном виде): «Если бы он знал, чего мне стоило решиться, придумать версию, весь день трястись в автобусе, потом сидеть на мешках, ждать другого автобуса, потом эта ужасная тропа, болото... Эта ужасная изба — как в ней могли жить люди!? А я ему не нужна, он груб, эгоцентричен, примитивен, ему не понять, он ненавидит меня, потому что я тоньше, ему недоступна нежность, он неспособен на самопожертвование. Господи, как бы я много сделала для него, если бы у него нашлась хоть капелька понимания. Но ему не понять...»

Старец думает: «Ну вот и дождался. В моей избе поселился вражий женский дух — какая тоска, Боже мой! Я болен, я виноват перед этой женщиной, перед всем миром. Я не лобзаю ее, не молюсь на нее. Мне тошно. Мне было так хорошо одному!»

В своем внутреннем монологе Старец позволял себе не только расхожие для самозъявления обороты, но и нецензурные выражения, которые я опускаю, хотя цензуры нет. И — опускаю занавес.

Читатели, ежели таковые найдутся (надо еще напечатать, а где бумага?), могут мне не поверить, я не настаиваю. Да и вообще — какой из меня реалист? Я по природе, как Леший, абсурден, за пределом добра и зла; в здравом смысле я маловероятен. Мне, например, ничего не стоит выманить Гостя из старцевой избы — через чело печи в трубу — полетать (метел вепсы не держат, в хозяйстве у Старца есть швабра). Не верите?

Прекрасно! Неуловимость Лешего в его маловероятности, не то бы мигом поймали. Что женщина послушна Лешему, кажется, нет сомнений? Ну, вот. Мы с Гостюшкой полетали или, лучше сказать, повитали в наших эмпиреях. Я ей дал необходимые инструкции в связи с меняющейся ситуацией, ну, разумеется, не в директивной форме, а в какой, не скажу. В одно ухо ей влетело, в другое вылетело; женщины помнят только о своем насущном, через это насущное все другое воспринимают. Замолвила передо мною словечко за своего очередного избранника, точно так же, как до нее тьмы тьмушие дур (я бессмертный, все помню): «Ты ему, говорит, Леший, не делай больно. Он хороший. Он глупый. Я с ним поработаю, он поумнеет».

Тем временем на Старца я наслал вещей сон; чуть свет он очухался, знает, что надо включить приемник. А там: «Я вступаю в должность... вводится чрезвычайное положение»... Словечки «путч», «путчисты» навесят на происшедшее позже; в самом начале, когда сообщение вышло в эфир, в каждом услышавшем произошла подвижка, туда или сюда. У большинства ни туда ни сюда, сработал рефлекс — удержаться на месте, чтобы не подхватило.

Государственный переворот, или назови его по-другому, образует трещину в стене, фундаменте, кровле; это меня не колышет; трещину залатают, а то и не заметят. Мой уровень: два человека, до сего потрясения близких, нужных друг другу, мужчина и женщина, в некотором роде возлюбленная пара, пусть в интеллектуальном варианте... Случился переворот, затем постпереворот, с отраженной, обратно направленной взрывной волной. Я ставлю эксперимент на дух человеческих душах, на возлюбленной паре, с заложенной в нее несовместимостью, с искренним порывом взяться за руки и необоримым отталкивающим моментом. Между двоими пробежит трещина в нитку — и ничем ее не заделаешь...

В августе светает скоро. Двое сидят у стола, с измученными бледными лицами, слушают приемник — сначала «Свободу», потом «Маяк». «Провести инвентаризацию продовольственных ресурсов». Разумно. «Восстановить порядок, спокойствие... очистить от преступного элемента»... Давно пора.

— Ну вот, наконец-то, — без аффектации, с чувством произносит Гость. — Все же не перевелись еще в России государственные мужи.

Старец молчит, нет слов, нет в душе отклика. От устава жизни ГКЧП исходит тоска прошедшего, изжитого. Так не хочется возвращаться; жить — значит дальше идти. Пятая раки. Да, раки...

Я знаю, как обернется, чем кончится, где главные точки. Но я подстрекаю, нет, моделирую, что выберут мужчина и женщина, в стороне от проезжих дорог. И восходит солнце, занимается день. Глаза у Гостя такого цвета, как зоровое Озеро, с зеленым лучом. Гость решился, сделал выбор, готов идти до конца, разумеется, вместе, вдвоем.

«Знаешь что?» — Гость интригует Старца. «Что?!» — дико встряхивается Старец. «Я тебя поздравляю». — «С чем?!» — «С победой над бесами. Все-таки мы победили». — «Кто — мы?!» — Старец морщится, будто хватил неразбавленного спирту, поперхнулся.

Дело сделано, наметилась трещинка... А в это время в других избах, апартаментах, интерьерах, госдачах другие женщины отговаривают или благословляют своих мужчин стать по эту сторону или по ту. Многие из них ложатся на пороге: не пуцу! Все решится не в Белом доме, не в Форосе, не на Лубянке, не на Старой площади, не на баррикадах, а в четырех стенах, в семейных или внебрачных ячейках. У мужиков выработано спасительное правило: выслушай женщину и сделай по-своему, но и мы не дремлем, женщины — наш контингент.

Старец выключил приемник, стал строг: «Надо ехать. А то приедешь, а там другая страна, другая эпоха. Спросит: «А ты откуда явился, папаша? Чтобы тебя здесь в 24 часа не было!» — «Ты-то как раз пригодишься», — польстил Старцу Гость. Старец насупился: «Мне что-то эти ребята не нравятся. Дрожащие твари. Опять какой-то скверный анекдот. Собирайся, поехали».

Признаться, такой прыти я от Старца не ждал, сколько знаю его, бывало, он пассивно поддавался, оправдывался перед собой тем, что... ну да, постигаю чужую душу, вхожу в иные миры, на то я и писатель... Ладно, ехать так ехать. Я даже не стал раздвигать встречного шелоника, так, разок дунул для полноты картины, освещение несколько раз поменял; синее-синее небо вдруг налилось слезами дождевыми; от крупных дождин поверхность воды заискрила. Радугу навесил, как триумфальную арку... Старец греб тихо, перекуривал. Гость воздыхал: «Этого никто никогда не видел. Только мы. Специально для нас. Посмотри, как все быстро меняется, какая феерия, как все значительно, серьезно...»

В последний гребок Старец вложил силенку, чтобы выкинуться на берег. Весло хрустнуло пополам. Хорошее было весло, кленовое, фирменное. Не надо, голубок, суетиться. Поплавали и хватит. Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец.

На берегу Старец пошел заводить машину, я ему из травы черную кошку наперерез. Есть у меня одна такая, идеально черная, с черным носом, с лоском в шерсти, с зеленоватыми выразительными глазами, с пушистым фосфоресцирующим хвостом. Кошка дорогу Старцу перебежала, обменялись взглядами...

«Грубая работа, Леший,— попенял мне мой старый подопечный.— Зачем такая аффектация — черной кошке дорогу перебегать?»

Ну что же, у нас своя рутина. «Вас предупредали, а вы...» Паром оказался на той стороне. Старец обежал край Озера, подергал трос, кишка у него тонка перетянуть бандуру на другой берег: Озеро наше большое, вода в нем к осени тяжелеет. Перекуковали ночь в машине, сна я им не дал, о чем разговаривали, не слушал.

На Харагинской горе увязил Старцеву тачку по уши в глину, еще и железяку ему в брюхо воткнул, прямо в вилку сцепления, чтобы скорость не включалась. Мужики подходили, приседали на корточки, подолгу смотрели, ничего не сказав, уходили. Что тут скажешь, не повезло, так не повезло. Приезжали грузовики сверху и снизу; колея на горе одна, торить другую никто не решался — мертвое дело. Взять на буксир занявшую проезд «Ниву» Старца значило превратить ее в металлолом. Один, молодой, высунулся, напал на Старца: «Чего стоишь? Бери лопату, откапывайся!»

Старец послушно взял лопату, но я высушил глину, превратил в камень.

Захряские на Харагинской горе мужики (прервалась артерия во владениях Соболя) смотрели на дело с фатальной непричастностью, как если бы смыло мост или случился обвал, а мы ни при чем. Вяло обменивались информацией, как о чем-то постороннем: В Москве верх держит Ельцин, в Питере — Собчак.

Старец сказал Гостю: «Вон автобусная остановка. Через двадцать минут автобус. Ты можешь уехать, вечером будешь дома». — «А как же ты? — засомневался Гость. Сомневался мгновенье. Решился.— Я остаюсь с тобой!».

Можно было умыть руки, оставить поле Ангелу-хранителю, пусть сочиняет хэппи-энд... В это время... явился посланец Соболя на УАЗе с тросом (Соболем доложили), проехал по гиблому месту, зацепил — выдернул... Старец поддомкратил машину, вынул из вилки железяку; включилось сцепление... По бровке, на одном колесе (на всех четырех ведущих), при большом скоплении зрителей-знатоков, с сидящим рядом оцепеневшим Гостем, рыча мотором, вырылил на вершину... Здесь я учинил ему последнюю маленькую пакость: порвал ремень вентилятора; мотор завизжал, как ударенная машиной текляшовская собака. Ремень и без меня бы лопнул, гнилой, но важно было соблюсти пакости в наборе, в букете; из этого складывается человеческий опыт: с Лешим шутки плохи.

Чего я не сказал бедолаге (победителю... асу наших дорог!), так это... Он-то думает, что будет каждое лето ошиваться у нас, длить свое летописание. Не знает, сердешный, что избу, проданную ему десять лет тому назад нюрговичской бобылкой Галей Кукушкиной... У него написано, как совершалась тогда купля-продажа, без оформления в сельсовете; избы не продавались, все зиждилось на доверии, человек человеку... Так вот... Нынче Галина Денисовна продала избу другому питерскому обывателю, затосковавшему по земле, за другую цену. Так что этим летом в избе над Большим Озером написан эпилог десятилетнего труда летописца. Гуд бай, Старче! Хау ду ю ду! Ну, не журишь, не журишь, еще, глядишь, как-нибудь и образуется. Только не полагайся на женщину, будь то слово, тело, душа. Не надо, не полагайся. И не обличай, что вышла из-под господства... Ребро Адамово, из которого Ева, суть и плоть мужская; все в женщине от тебя, господина, даже и политической ориентация. Напомню общеизвестное: господство основано на любви, любовь — всецелое попечительство — докучное дело; тебя все уносит в кусты, к нам, Лешим, в большевики, в демократы.

Ну, ладно. Живи и помни, а там будет видно».

Михаил Михайлович Соболев, директор совхоза «Пашозерский», сидел у себя в кабине. Я сел напротив. (В это время его добрые молодцы натягивали в моей машине новый ремень вентилятора.) Закурили. Соболев позвонил секретарше, та принесла два стакана чаю. Чай крепкий, индийский.

— Я думаю,— сказал Соболев,— что ничего путного у них не выйдет, у ГКЧП. Народу переворот не нужен. Нам нужна стабилизация. (Соболев высказывался от имени народа.) Какая бы власть ни была, людей надо кормить. Мы производим продукты

питания: копаем картошку, заготавливаем корма; в Корбеничах строим скотный двор, в Пашозере Дом культуры. С вепсами можно работать; я человек приезжий, но мне нравятся здешние люди. Сам строю дом на берегу Пашозера... Крестьянский труд всегда был в основе всего. Только бы нам не мешали.

— Хорошо, Михаил Михайлович,— перебил я любезного хозяина кабинета.— Хорошо вы говорите. Все так. А за Озером? Что станет с нашей деревней Нюрговичи?

— Весной объединение «Конвент» предлагало сделку: войти во владение всеми угодьями за Озером, вложить средства. Земли наши, но у нас, совхоза, не спрашивали. И мы не встревали. Сами местные жители на сходе уперлись: не отдадим. И мы такого же мнения. Что будет дальше? Надо установить на Вепсской возвышенности режим государственного заповедника, национального парка, заниматься хозяйственной деятельностью без ущерба природе. Пусть будут фермерские хозяйства — мы поможем.

Директор совхоза говорил как по-писаному, каждое лыко клал в строку. И такая от него исходила ясность, такая отчаянная уверенность в своей правоте, что я стал оглядываться по углам: где Леший, когда попутает этого парня. От ясности Леший зевает.

Вошли добрые молодцы, доложили: ремень натянут на вал вентилятора. Можно ехать дальше.

Каждая моя вылазка к вепсам завершается посещением, визитом в деревню Чога, на берегу одноименной реки, под моей избой чистой, а ниже разбавленной жижей с комплекса. Там где-то есть очистные сооружения, когда-то ими заведовал Иван Андреевич Пулькин... Но это все ниже, а у нас в деревне Чога, да, у нас...

Против меня живет Иван Николаевич Ягодкин. При знакомстве я спросил у него: «А ты, Николаич, вепс?» Николаич ответил безо всякой заносчивости: «Нет, у нас деревня русская». В чем отличие русской деревни от вепсской? Еще не знаю, надо пожить в деревне Чога, для того и избу купил у Соболя, для того он мне ее продал.

На обратной дороге от вепсов у меня решительно нет никакой еды; всякий раз, как добрый Ангел, меня приглашает отведать даров леса, болота и огорода живущий здесь в сезон доктор технических наук Дмитрий Семенович Михалевич. В этот раз его жена Альма Петровна попотчевала убитыми хозяином дупелем и бекасом. Замечательная легавая Яна сделала стойку, дупель взвился... Дмитрий Семенович бьет без промаха. И бекас.

— А больше мне не надо,— сказал охотник по болотной дичи, которую местные не считают за дичь. Весь его вид выказывал благодушие, радость переживаемого праздника жизни.

Такое настроение, состояние, выражение лица дается немногим. У абсолютного большинства — и у автора этих строк — лица малость перекошены, души набекрень. Чтобы нашему соотечественнику нынче стать гедонистом, жизнеприемлющим оптимистом — что надо? Ах, если бы я знал!.. Для начала уметь что-нибудь хорошо делать, ну, например, стрелять влёт...

— В этом году,— сказал Дмитрий Семенович,— мы с Альмой Петровной за один раз собрали четыреста белых грибов. Поехали в Кильмую в магазин. По дороге шли бабки с пастбища, с дойки. Я троих бабок взял, подвез, они говорят: «Вы нас подвезли, а мы вам покажем грибное место. Вот так идите лугом до ручья, ручей перейдете, там ельники, боровинки, там и грибы». Мы пошли и, знаете, в тех ельниках, боровинках хоть косой коси, один к одному, черноголовые.

Альма Петровна вынесла холщовый мешок, развязала, пахнуло букетом как будто не остывших, с пылу, с жару белых грибов.

— Мы четыреста белых собрали,— сказала Альма Петровна,— высушили; получились килограмм сушеных.

— Можно бы еще съездить,— сказал Дмитрий Семенович,— но нам больше не надо. Как-то я сказал Альме Петровне: «Вам повезло с мужем. У вас просто чудо муж». Альма Петровна просто сказала: «Мы с Митей любим друг друга. Вот и все». Вот и все.